

**СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**



ОТРАЖЕНИЯ

Первые опыты художественного перевода

Альманах

Выпуск 8/9

**Редакторы и составители:
К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко**

**Санкт-Петербург — Донецк
2019**

УДК 82-822=03

ББК 84(0)

О-862

Ответственная за выпуск О. И. Чуванова

С предложениями и пожеланиями обращаться по адресу:

Донецк, 83001, ул. Университетская, 24. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», кафедра зарубежной литературы. Матвиенко О. В.

Тексты для публикации можно также направлять по электронной почте kmlkf@list.ru или на адрес редактора сборника matvizar@gmail.com.
Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.

Издание носит некоммерческий характер и не поступает в продажу.

О-862 Отражения. Первые опыты художественного перевода:
Альманах. Вып. 8/9. Ред. и сост. К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко;
[отв. за выпуск О. И. Чуванова]. СПб.; Донецк, 2019. 192 с.

В двойном выпуске сборника «Отражения» представлены лучшие переводы мировой литературной классики и современной литературы, выполненные победителями Международного конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2017), который проводился Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) в Петербурге. Здесь также опубликованы работы, поданные на конкурс «Читающий Петербург — 2018» и на региональные конкурсы «Отражения» и «Мои первые переводы», выполненные школьниками Донбасса, студентами Донецкого национального университета и различных российских вузов.

УДК 82-822=03

ББК 84(0)

© Союз писателей Санкт-Петербурга, 2019

© Донецкий национальный университет, 2019

© Корконосенко К. С., Матвиенко О. В.,
составление, 2019

От составителя

Дорогой читатель!

Предлагаем Вашему вниманию новый двойной выпуск переводческого альманаха «Отражения 8/9». На этот раз мы с радостью предоставили страницы победителям переводческих конкурсов, международных и региональных. Знаменательно, что альманах открывается материалами Международного конкурса начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2017). Конкурс, который ежегодно проводится под эгидой Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге и популяризирует классические традиции Петербургской (Ленинградской) школы перевода, объединил в виртуальном русскоязычном пространстве людей, влюбленных в художественный перевод. Благодаря конкурсу у нас, кроме привычных для «Отражений» переводов с английского, немецкого, французского, появились переводы с испанского и итальянского, а также впервые — с чешского и китайского. Публикуя лучшие переводы иностранной поэзии и прозы, надеемся, что читатели смогут обогатить свое представление о классической и современной словесности, порадоваться удачным переводческим решениям.

Кроме конкурса им. Э. Л. Линецкой мы популяризируем и другие переводческие турниры. Например, конкурс «Читающий Петербург — 2018», в котором впервые приняла участие группа студентов факультета иностранных языков Донецкого университета, причем один из переводов оказался «победным», и мы публикуем их работы. Регулярно поставляют нам интересные переводы и местные конкурсы: ежегодный конкурс для донбасских старшеклассников «Мои первые переводы», позволяющий обнаружить талантливых ребят, чутких к художественному слову, и открытый университетский конкурс «Отражения». Приятно отметить, что география «Отражений» ширится с каждым новым выпуском; авторы присылают свои работы отовсюду, от Западной Европы до Дальнего Востока, от Санкт-Петербурга до Донецка.

В рубрике «В переводческой мастерской» на этот раз мы представили работы замечательной воронежской переводчицы Ольги Комаровой, неоднократной победительницы конкурса им. Э. Л. Линецкой, а в разделе «Из Кастальского источника» — переводы популярных песен, выполненные горловчанином Антоном Бессоновым. И еще многое, многое другое.

Пользуясь случаем, напоминаю, что редколлегия ждет Ваши переводческие подборки. То, что Вы переводите «для себя», чему посвящаете свободное время и отдаете душевные силы. Тексты, которые Вы шлифуете и совершенствуете, добиваясь идеального звучания, безупречного стиля.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Приятного Вам чтения!

Ольга Матвиенко

Слово о конкурсе

Каждый год, начиная с 2009-го, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) совместно с Союзом писателей Санкт-Петербурга проводит Конкурс начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой. С идеей организации такого конкурса выступили ученики Эльги Львовны, бывшие участники ее семинара — Т. Н. Чернышева, М. Д. Яснов, В. Е. Багно и В. Н. Андреев.

Конкурс проводится при финансовой поддержке Института перевода в Москве; цель его — сохранение традиций отечественной школы художественного перевода, а задача — на конкурсной основе отметить лучшие переводы поэзии и прозы, выполненные начинающими переводчиками на материале предложенных заданий.

Для участников Конкурса не устанавливается ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства. Начинаящим может считать себя всякий переводчик, делающий первые шаги в художественном переводе, не состоящий ни в каком профессиональном союзе и имеющий не более трех переводных публикаций.

Диапазон заданий год от года меняется: в 2019 году на конкурс предложены тексты на английском, венгерском, испанском, итальянском, китайском, немецком и французском языках по номинациям Проза и Поэзия. Информация о конкурсе помещается на сайт Пушкинского Дома, а потом, уже без усилий оргкомитета, передается по социальным сетям.

Награждения в Большом зале Пушкинского Дома проходят и торжественно, и весело. Это праздник для всех любителей перевода. Отрадно, что на этом празднике завязывается общение лауреатов и с профессиональными переводчиками, и между собой, и этот заинтересованный диалог продолжается и потом, выходя за рамки конкурсных заданий.

Один из результатов такого общения — издание лучших переводов 2017 года в сдвоенном выпуске «Отражений» под двойным грифом — Союза писателей С.-Петербурга и Донецкого национального университета.

Мне было и лестно, и приятно участвовать в подготовке этого выпуска вместе с Ольгой Матвиенко, многократной победительницей Конкурса начинающих переводчиков. Уверен, такая совместная работа продолжится и в будущем.

*Кирилл Корконосенко,
старший научный сотрудник Института русской литературы,
член Союза писателей Санкт-Петербурга (секция художественного перевода)
эксперт и организатор Конкурса начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой*

**МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА
НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
ИМ. Э. Л. ЛИНЕЦКОЙ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2017)**



АНГЛИЙСКАЯ ПРОЗА

Один день из жизни Натаниэля Готорна. Дневниковая запись от 31 июля 1851 года. Отдельной книгой летний дневник впервые опубликован в 2003 году к юбилею писателя с предисловием Пола Остера (New York Review Books, 2003 г.)

Nathaniel Hawthorne. Twenty days with Julian and Bunny, By Papa July 31st. Thursday.

At about six o'clock, I looked over the edge of my bed, and saw that Julian was awake, peeping sideways at me out of his eyes, with a subdued laugh in them. So we got up, and first I bathed him, and then myself, and afterwards I proposed to curl his hair. I forgot to say that I attempted the same thing, the morning before last, and succeeded miraculously ill; indeed, it was such a failure that the old boy burst into a laugh at the first hint of repeating the attempt. However, I persisted, and screwed his hair round a stick, till I almost screwed it out of his head; he all the time squealing and laughing, between pain and merriment. He endeavored to tell me how his mother proceeded; but his instructions were not very clear, and only entangled the business so much the more. But, now that his hair is dry, it does not look so badly as might have been expected.

After thus operating on his wig, we went for the milk. It was another cloudy and lowery morning, with a cloud (which looked as full of moisture as a wet sponge) lying all along the ridge of the western hills, beneath which the wooded hillside looked black, grim and desolate.

Monument Mountain, too, had a cloud on its back; but the sunshine gleamed along its sides, and made it quite a cheerful object; and being in the centre of the scene, it cheered up the whole picture like a cheery heart. Even its forests, as contrasted with the woods on the other hills, had a light on them; and the cleared tracts seemed doubly sunny, and a field of rye, just at its best, shone out with yellow radiance, and quite illuminated the landscape. As we walked along the little man munched a bread-cake, and talked about the "jeu" (as he pronounces it) on the grass, and said that he supposed fairies had been pouring it on the grass, and flowers, out of their little pitchers. Then he pestered me to tell him on which side of the road I thought the dewy grass looked prettiest. Thus, with all the time a babble at my side as if a brook were running along the way, we reached Luther's house; and old Atropos took the pail, with a grim smile, and gave it back with two quarts of milk.

The weather being chill, and the sun not constant or powerful enough to dry off the dew, we spent the greater part of the forenoon within doors. The old gentleman, as usual, bothered me with innumerable questions, and continual references as to all his occupations.

After dinner, we took a walk to the lake. As we drew near the bank, we saw a boat a little way off the shore; and another approached the strand, and its crew landed, just afterwards. They were three men, of a loaf Erish aspect. They asked me whether there was any good water near at hand; then they strolled inland, to view the country, as is the custom of voyagers on setting foot in foreign parts. Thereupon,

Julian went to their boat, which he viewed with great interest, and gave a great exclamation on discovering some fish in it. They were only a few bream and pouts. The little man wanted me to get into the boat and sail off with him; and he could hardly be got away from the spot. I made him a shingle skiff, and launched it, and it went away westward — the wind being east to-day. Then we made our way along the tangled lake-shore, and sitting down, he threw in bits of moss, and called them islands — floating green islands — and said that there were trees, and ferns, and men upon them. By and by, against his remonstrances, I insisted upon going home. He picked up a club, and began war again — the old warfare with the thistles — which we called hydras, chimaeras, dragons, and Gorgons. Thus we fought our way homeward; and so has passed the day, until now at twenty minutes past four.

In the earlier part of the summer, I thought that the landscape would suffer by the change from pure and rich verdure, after the pastures should turn yellow, and the fields be mowed. But I now think the change an improvement. The contrast between the faded green, and, here and there, the almost brown and dusky fields, as compared with the deep green of the woods, is very picturesque, on the hill-side.

Before supper, Mrs. Tappan came in, with two or three volumes of Fourier's works, which I wished to borrow, with a view to my next romance "Blithedale".

She proposed that Julian should come over and see Ellen to-morrow; to which I not unwillingly gave my assent, and the old gentleman, too, seemed pleased with the prospect. He has now had his supper, and is forthwith to be put to bed. Mrs. Peters, whose husband is sick or unwell (probably drunk), is going home to-night, and will return in the morning. And now Julian is in bed, and I have gathered and crushed some currants, and have given Bunny his supper of lettuce, which he seems to like better than anything else; though nothing in the vegetable line comes amiss to him. He ate a leaf of mint to-day, seemingly with great relish. It makes me smile to see how invariably he comes galloping to meet me, whenever I open the door, making sure that there is something in store for him, and smelling eagerly to find out what it is. He eats enormously, and, I think, has grown considerably broader than when he came hither. The mystery that broods about him — the lack of any method of communicating with this voiceless creature — heightens the interest. Then he is naturally so full of little alarms, that it is pleasant to find him free of these, as to Julian and myself.

Натаниэль Готорн. Двадцать дней с Джулианом и Зайкой. Из жизни Папы 31 июля, четверг

Около шести я приподнял голову над кроватью и увидел, что Джулиан уже не спит, а украдкой косится в мою сторону и в глазах его бегают смешинки. Так мы проснулись, и первым делом я искупал его, затем вымылся сам, а потом предложил завить ему волосы. Стоит сказать, позавчера утром я уже пытался это сделать и вышло у меня на удивление скверно. Правда, я настолько не справился с этим испытанием, что при первом намёке на повторную попытку мальчуган залился смехом. Однако я настоял и принялся накручивать его локоны на щипцы с таким усердием, что чудом их не

повыдёргивал; Джулиан же всё это время то хохотал надо мной, то кричал от боли. Он пытался объяснить мне, как это делает мама, но я так и не смог ничего понять, лишь запутался ещё больше. И всё же волосы, когда высохли, выглядели не так плохо, как можно было бы ожидать.

Разделавшись с волосами, мы отправились за молоком. Утро в очередной раз выдалось хмурое, пасмурное, на западе небо над горизонтом сплошь было затянуто тучей (похожей на набухшую от воды губку), под которой мрачно и уныло чернели лесистые склоны холмов.

Над задним склоном Горы-Памятника тоже нависла туча, однако на боковых её склонах играло солнце, отчего она радовала взор и, находясь в самом сердце общей картины, оживляла собой всё вокруг. Даже её леса были подёрнуты светом, что выделяло их на фоне других лесистых холмов, а просеки, казалось, отражали вдвое больше солнечного света, и ржаное поле, как раз созревшее, озаряло пейзаж своим жёлтым сиянием. Малыш по дороге лопал кекс, звонко причмокивая, и рассказывал мне о том, что «лоса» (так он выговаривал это слово) на траве и цветах остаётся после того, как феи поливают их из своих крошечных кувшинчиков. Потом он донимал меня вопросом, на какой стороне дороги трава в росе мне кажется красивее. Так весь путь до дома Лютера меня сопровождал нескончаемый лепет, словно ручеек бежал вдоль дороги. Когда мы дошли, старик с мрачной улыбкой Атропос взял у нас ведёрко и вернул его с двумя квартами молока.

Поскольку на улице было прохладно, а солнце выглядывало изредка и грело недостаточно сильно, чтобы высушить траву, большую часть утра мы провели дома. Шалопай, как всегда, забрасывал меня бесчисленными вопросами и бесконечными рассказами обо всех своих занятиях.

После обеда мы пошли прогуляться до озера. Приблизившись к берегу, мы увидели невдалеке лодку, потом наблюдали, как причаливала другая лодка, из которой высадились рыбаки: трое мужчин праздного вида. Они спросили у меня, есть ли где поблизости питьевая вода, затем побрели дальше, осматривать окрестности, согласно обычаю путешественников, высаживающихся в чужих краях. Джулиан же, подойдя к их лодке, принялся рассматривать её с большим любопытством и вскрикнул от восторга, обнаружив в ней рыбу. Там лежало лишь несколько лещей и сомов. Малыш захотел, чтобы я сел в лодку и отправился с ним в плавание, мне насилу удалось его увести. Я смастерил ему ялик из дранки и спустил его на воду, ялик поплыл на запад, повинувшись восточному ветру. Потом мы пробирались сквозь береговые заросли, сынишка, сев у воды, бросал в озеро куски мха и говорил, что это острова, плавучие зелёные острова, на которых растут деревья и папоротник и даже живут люди. Мало-помалу, вопреки его возражениям, я настоял на возвращении домой. Джулиан схватил дубинку и вновь начал войну, эту старую войну с чертополохом, который мы называли гидрами, химерами, драконами и Горгонами. Так, воюя, мы добрались до дома, и так до этой минуты — на часах двадцать минут пятого — сложился наш день.

В начале лета я думал, что пейзаж уже не будет так радовать глаз, когда насыщенная и сочная зелень пастбищ пожелтеет, а поля соберут в скирды.

Теперь же мне кажется, что стало ещё лучше. Контраст поблёкшей зелени полей, местами почти бурых и тёмных, с насыщенной зеленью лесов очень живописен на косогоре.

Перед ужином зашла миссис Тэппан, принесла два–три тома сочинений Фурье, которые я хотел взять почитать для работы над своим следующим романом «Счастливый дол».

Она предложила Джулиану завтра прийти поиграть с Эллен, на что я, недолго думая, согласился, да и моего озорника такая перспектива, кажется, тоже обрадовала. Он уже поужинал, и теперь его пора укладывать спать. Мужу миссис Петерс сегодня нездоровится (вероятно, пьян), она уйдёт ночевать домой и вернётся утром. Джулиан уже в кроватке, а я собрал и раздавил несколько смородин и покормил Зайку салатом, который он, кажется, любит больше всего на свете, хотя ему, в общем-то, по вкусу всё, что в огороде растёт. Сегодня, например, он ел лист мяты, как мне показалось, с большим аппетитом. Меня забавляет смотреть, как он всякий раз, когда я вхожу, несётся вскачь мне навстречу, понимая, что я для него кое-что припас, и жадно разнюхивая, что именно. Ест он ненасытно и, по-моему, очень раздобрел с тех пор, как у нас появился. Невозможность общения с этим безмолвным существом окутывает его некой тайной, отчего наблюдать за ним ещё любопытнее. К тому же он по своей природе очень боязливый, и радостно видеть, что нас с Джулианом он перестал бояться.

Перевод Аллы Субботиной, выпускницы ННГУ (филология), живет в г. Дзержинске Нижегородской обл. (lewaep@mail.ru). Перевод занял первое место в номинации «английская проза» (2017)

Натаниэль Готорн. Двадцать дней с Джулианом и Кролей. От Папы. Вторник, 31 июля

Проснувшись утром около шести и выглянув из своей кровати, я увидел, что Джулиан уже не спит, украдкой поглядывая на меня краем глаза с затаённой усмешкой. Значит, пора вставать. После того, как я умыл его и умылся сам, я предложил завить ему волосы. Забыл сказать, позавчера я уже пытался это сделать, но результаты оказались плачевны. Это был полный провал, так что малыш залился хохотом уже при одном упоминании о новой попытке. Всё же я настоял на своём, хотя накручивал его локоны на щипцы чересчур сильно, чуть ли не выдирая их с корнем. Мой подопечный то вскрикивал, то смеялся, ему было то больно, то весело. Он попытался рассказать мне, как это делала мама, однако, инструкции были не очень-то понятные и только запутывали процесс еще больше. Впрочем, когда волосы высохли, всё выглядело не настолько ужасно, как я ожидал. После экспериментов с его шевелюрой мы отправились за молоком.

Было очередное облачное и хмурое утро, и туча, похожая на пропитанную водой губку, тянулась вдоль всего хребта западного нагорья, отчего покрытое лесом подножье казалось чёрным, мрачным и безлюдным. Над горой Монумент тоже нависла туча, но на склонах блистало солнце, чудесным

образом всё преображая: находясь в самом центре открывавшейся панорамы, Монумент украшал собой всю картинку, как искусно огранённый бриллиант. Даже лес на склонах, в отличие от лесов на соседних горах, светился, и свет будто лился по просекам, а ржаные поля, во всей своей зрелости, сияли желтизной, казалось, освещая собой весь пейзаж. Пока мы шли, малыш жевал ломоть хлеба и рассуждал о «ласе» (так он это произносит). Он сказал, что, должно быть, феи поливают траву и цветы из своих маленьких кувшинчиков. Затем он пристал ко мне с вопросом о том, на какой стороне дороги, по моему мнению, покрытая росой трава выглядит прекраснее. Так, под его болтовню, подобную ручейку, бегущему вдоль нашего пути, мы добрались до дома Лютера, где старик с ухмылкой, придающей ему сходство с Атропос, взял ведерко и вернул его нам с двумя квартами молока.

Поскольку погода была прохладной, а солнце, периодически скрываясь за облаками, грело недостаточно сильно, чтобы высушить росу, мы провели большую часть первой половины дня дома. Всё это время мальчишка, как водится, докучал мне бесчисленными вопросами и бесконечными рассказами о своих занятиях.

После обеда мы прогулялись к озеру. Пробравшись к берегу, мы увидели лодку на воде неподалеку и другую, уже причалившую к берегу, и её только что высадившуюся команду. Это были трое мужчин праздного вида. Они спросили меня, где тут поблизости можно найти питьевую воду, и побрели вдаль от берега, чтобы взглянуть на деревню, как обычно водится у путешественников, ступивших в чужие края. Джулиан же направился к их лодке, рассмотрел её с большим интересом и, обнаружив в ней рыбу, хотя там было лишь немного лещей да озёрных сомов, издал торжествующий возглас. Малыш хотел, чтобы я забрался в лодку и отправился с ним в плаванье, и едва ли его можно было отговорить от этой затеи. Я сделал кораблик, спустил его на воду, и он поплыл на запад, поскольку ветер в тот день был восточный. После чего мы отправились вдоль заросшего берега озера и расположились у воды. Малыш бросал кусочки мха в воду, называя их островами, — плавучими зелёными островами — и утверждал, что на них есть деревья, кусты и люди. Чуть погодя, вопреки его протестам, я настоял на возвращении домой. Тогда он подобрал палку и пошел вперед, сражаясь, — наша давняя война с чертополохом, который мы называем гидрами, химерами, драконами и Горгонами. Так, пробиваясь с боем к дому, мы провели день до сего момента, двадцати минут пятого.

В начале лета я думал, что, когда пышная богатая зелень станет пожелтевшим пастбищем, и ее скосят, пейзаж будет испорчен. Но сейчас я вижу, что всё изменилось к лучшему: контраст между увядающей зеленью, то тут, то там почти коричневыми полями и тёмно-зелёными лесами на склонах гор стал ещё более колоритным.

Перед ужином пришла миссис Тэппэн с несколькими томиками трудов Фурье, которые я хотел взять для работы над своей следующей поэмой «Беспечный дол». Она предложила Джулиану завтра зайти навестить Эллен, на что я охотно дал согласие, и мой чертёнок, похоже, тоже остался этим доволен.

Поужинав, он тотчас же отправился спать. Миссис Питерс, поскольку её муж то ли болен, то ли неважно себя чувствует (возможно, просто пьян), уже ушла домой и вернется только поутру.

Джулиан уже спит, а я собрал немного смородины и размолот её, выдал Кроле лист латука на ужин, который он, кажется, любит больше всего на свете. Впрочем, ему нравится всё вегетарианское — сегодня он съел листья мяты с необычайным удовольствием. Всякий раз, открывая дверь, я непременно улыбаюсь, видя, как он неизменно бежит вскачь, чтобы встретить меня, и, удостоверившись, что я припас для него кое-что, с нетерпением обнюхивает меня, пытаюсь выяснить, что именно. Кроля ест без остановки и значительно располнел с тех пор, как впервые появился здесь. Как правильно заботиться о нём, в отсутствии каких-либо способов общения с бессловесным созданием — загадка. Обычно он полон своих маленьких тревог, и было бы здорово — увидеть его таким же свободным от всего этого, как Джулиан и я.

Перевод Максима Терещенко, выпускника Новосибирского государственного технического университета (специальность: инженер электроники и микроэлектроники, технический переводчик), инженера технической поддержки в ООО «ARQA Technologies», Новосибирск (maksimkos@gmail.com). Перевод занял второе место в номинации «английская проза» (2017)

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

Mervin Peak. To Maeve

You walk unaware
Of the slender gazelle
That moves as you move
And is one with the limbs
That you have.

You live unaware
Of the faint, the unearthly
Echo of hooves
That within your white streams
Of clear clay that I love

Are in flight as you turn,
As you stand, as you move,
As you sleep, for the slender
Gazelle never rests
In your ivory grove.
1937

Мервин Пик. Посвящение Мэйв

Ты ступаешь, не зная
О нежной газели,
Что движется тенью
Являясь как будто
Твоим продолженьем.

Живешь ты, не зная
Как тает
Нездешнее эхо копыт
Словно в чистом потоке
Твоего белоснежного тела, что
люблю я.

Они вечно летят, обернешься ли ты,
Остановишься, будешь ли двигаться
дальше,
Пока спишь... Ведь не знает покоя
Газель, что бежит грациозно
По роще из кости слоновой.

*Перевод Юлии Иващенко,
выпускницы МГЛУ 2004 г. по
специальности «перевод (английский,*

французский)», в наст. время менеджера проектов в сфере логистики клинических исследований (uivaschenko@rambler.ru). Перевод занял первое место в номинации «английская поэзия» (2017)

Мервин Пик — К Мэйв

Ты идёшь и не видишь,
Как стройная серна
Тенью скользит за тобой —
След в след,
Невесомо.

Ты живёшь и не слышишь
Лёгкий стук от копыт,
Раздающийся эхом
Неземным
За спиною.

Ты бежишь ли, стоишь,
Спишь ли, дышишь — газель
За тобою как тень:
Никогда не стоит
На месте.

Перевод Маргариты Медведевой, выпускницы Северного арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова по специальности «лингвист-преподаватель (английский, норвежский)», в наст. время секретаря-переводчика ООО «Автоматика-Вектор» (marg.medvedeva@gmail.com). Перевод занял третье место в номинации «английская поэзия» (2017)

Мервин Пик. Мейв¹

Идёшь, не узнав,
Что стройна, как газель;
Она так идёт,
Что вы словно одно
Естество.

Живёшь, не узнав
О тиши неземного
Эха копыт
В реках белых твоих,
Мной любимых брегах

Повернёшься — взлетят;
Иль стоишь, иль идёшь,
Или спишь — безустанна
Газель, что в твоём
Белоснежном лесу.

Перевод Андрея Гетманова, студента Кубанского государственного технологического университета (специальность «Управление в технических системах») (andrey.getmanov2802@gmail.com). Перевод занял третье место в номинации «английская поэзия» (2017)

НЕМЕЦКАЯ ПРОЗА

Karl Valentin. Im Hutladen (1938)

Verkäuferin: Guten Tag, Sie wünschen?

Karl Valentin: Einen Hut.

Verkäuferin: Was soll das für ein Hut sein?

Karl Valentin: Einer zum Anziehen.

¹ Мейв Гилмор — жена поэта (прим. переводчика)

Verkäuferin: Ja, anziehen können Sie niemals einen Hut, den muß man immer aufsetzen.

Karl Valentin: Nein, immer nicht – in der Kirche zum Beispiel kann ich den Hut nicht aufsetzen.

Verkäuferin: In der Kirche nicht – aber Sie gehen doch nicht immer in die Kirche.

Karl Valentin: Nein, nur da und hie.

Verkäuferin: Sie meinen wohl nur hie und da!

Karl Valentin: Ja, ich will einen Hut zum Auf- und Absetzen.

Verkäuferin: Jeden Hut können Sie auf- und absetzen! Wollen Sie einen weichen oder einen steifen Hut?

Karl Valentin: Nein – einen grauen.

Verkäuferin: Ich meine, was für eine Fassung?

Karl Valentin: Eine farblose Fassung.

Verkäuferin: Sie meinen, eine schicke Fassung – wir haben allerlei schicke Fassungen in allen Farben.

Karl Valentin: In allen Farben? – Dann hellgelb!

Verkäuferin: Aber hellgelbe Hüte gibt es nur im Karneval – einen hellgelben Herrenhut können Sie doch nicht tragen.

Karl Valentin: Ich will ihn ja nicht tragen, sondern aufsetzen.

Verkäuferin: Mit einem hellgelben Hut werden Sie ja aufgelacht.

Karl Valentin: Aber Strohhüte sind doch hellgelb.

Verkäuferin: Ach, Sie wollen einen Strohhut?

Karl Valentin: Nein, ein Strohhut ist mir zu feuergefährlich.

Verkäuferin: Asbesthüte gibt es leider noch nicht! – Schöne weiche Filzhüte hätten wir.

Karl Valentin: Die weichen Filzhüte haben den Nachteil, daß man sie nicht hört, wenn sie einem vom Kopf auf den Boden fallen.

Verkäuferin: Na, dann müssen Sie sich eben einen Stahlhelm kaufen, den hört man fallen.

Karl Valentin: Als Zivilist darf ich keinen Stahlhelm tragen.

Verkäuferin: Nun müssen Sie sich aber bald entschließen, was Sie für einen Hut wollen.

Karl Valentin: Einen neuen Hut!

Verkäuferin: Ja, wir haben nur neue.

Karl Valentin: Ich will ja einen neuen.

Verkäuferin: Ja, aber was für einen?

Karl Valentin: Einen Herrenhut!

Verkäuferin: Damenhüte führen wir nicht!

Karl Valentin: Ich will auch keinen Damenhut!

Verkäuferin: Sie sind sehr schwer zu bedienen, ich zeige Ihnen mehrere Hüte.

Karl Valentin: Was heißt mehrere, ich will doch nur einen. Ich habe ja auch nur einen Kopf.

Verkäuferin: Nein, zur Auswahl zeige ich Ihnen mehrere.

Karl Valentin: Ich will keine Auswahl haben, sondern einen Hut, der mir paßt.

Verkäuferin: Natürlich muß ein Hut passen, wenn Sie mir Ihre Kopfweite sagen, dann werde ich schon einen passenden Hut finden.

Karl Valentin: Meine Kopfweite ist bei weitem nicht so weit, wie Sie denken! Ich habe Kopfweite 55 – will aber Hutnummer 60 haben.

Verkäuferin: Dann ist Ihnen ja der Hut zu groß.

Karl Valentin: Aber er sitzt gut! Habe ich aber einen um fünf Nummern kleineren, der fällt mir runter.

Verkäuferin: Das hat auch keinen Sinn; wenn man Kopfweite 55 hat, dann muß auch die Hutnummer 55 sein! Das war schon von jeher so.

Karl Valentin: Von jeher! – Das ist ja eben das Traurige, daß die Geschäftsleute an den alten Sitten und Gebräuchen hängen und nicht mit der Zeit gehen.

Verkäuferin: Was hat denn die Hutweite mit der neuen Zeit zu tun?

Karl Valentin: Erlauben Sie mir: die Köpfe der Menschen bleiben doch nicht dieselben, die ändern sich doch fortwährend!

Verkäuferin: Innen – aber außen doch nicht! Wir kommen da zu weit.

Karl Valentin: Ja, Sie wollen doch die Weite wissen!

Verkäuferin: Aber nicht von der neuen Zeit, sondern von Ihrem Kopf.

Karl Valentin: Ich habe Ihnen nur erklären wollen, daß die Menschen in der sogenannten guten alten Zeit andere Köpfe hatten als heute.

Verkäuferin: Das ist Quatsch – natürlich hatte jeder Mensch, solange die Menschheit besteht, seinen eigenen Kopf, aber wir reden doch nicht von der Eigenart, sondern von der Größe Ihres Kopfes. – Also, lassen Sie sich von mir belehren, nehmen sie diesen Hut hier, Größe 55, der Hut kostet fünfzehn Mark, ist schön und gut und ist auch modern.

Karl Valentin: Natürlich lasse ich mich von Ihnen belehren, denn Sie sind Fachmann. Also, der Hut ist modern, sagen Sie

Verkäuferin: Ja, was heißt heute modern! Es gibt Herren, sogenannte Sonderlinge, die laufen Sommer und Winter ohne Hut im Freien herum und behaupten, das sei das Modernste!

Karl Valentin: So, keinen Hut tragen ist das Modernste? Dann kaufe ich mir auch keinen. Auf Wiedersehen!

Карл Валентин. В шляпной лавке (1938)

Торговка: Здравствуйте, чего желаете?

Карл Валентин: Шляпу.

Торговка: Какую шляпу?

Карл Валентин: Такую, чтобы одевать.

Торговка: Шляпу не одевают, её всегда надевают.

Карл Валентин: Нет, не всегда — в церкви, например, я шляпу не могу надеть.

Торговка: В церкви нет, но ведь Вы не всегда ходите в церковь.

Карл Валентин: Нет, то сяк, то так.

Торговка: Наверное, то так, то сяк!

Карл Валентин: Да, мне нужна шляпа, чтобы снимать и надевать.

Торговка: Любую шляпу можно снимать и надевать! Вы хотите мягкую или жёсткую шляпу?

Карл Валентин: Нет — обычную.

Торговка: Я имею в виду, какого фасона?

Карл Валентин: Неброского фасона.

Торговка: Вы хотите сказать, элегантного фасона? У нас есть элегантные шляпы всех цветов.

Карл Валентин: Всех цветов? — Тогда светло-жёлтую!

Торговка: Но ведь светло-жёлтые шляпы бывают только на карнавале, Вы не можете носить мужскую шляпу светло-жёлтого цвета.

Карл Валентин: Я не собираюсь её носить, буду только надевать.

Торговка: Над Вами будут смеяться, если Вы наденете светло-жёлтую шляпу.

Карл Валентин: Но ведь соломенные шляпы тоже светло-жёлтые.

Торговка: А, так Вам нужна соломенная шляпа?

Карл Валентин: Нет, соломенная шляпа слишком огнеопасна.

Торговка: К сожалению, асбестовых шляп пока нет! У нас есть красивые мягкие фетровые шляпы.

Карл Валентин: У мягких фетровых шляп есть недостаток — не слышно, когда они падают с головы на землю.

Торговка: Ну, в таком случае Вам надо купить стальной шлем: всегда слышно, когда он падает.

Карл Валентин: Мне, как лицу гражданскому, нельзя носить стальной шлем.

Торговка: Но всё-таки Вы должны определиться, какую шляпу Вы хотите.

Карл Валентин: Новую шляпу!

Торговка: У нас есть только новые.

Карл Валентин: Мне и нужна новая.

Торговка: Да, но какая?

Карл Валентин: Мужская шляпа!

Торговка: У нас в продаже нет дамских шляп!

Карл Валентин: Мне и не нужна дамская шляпа!

Торговка: Вас так сложно обслуживать, давайте я покажу Вам несколько шляп.

Карл Валентин: Что значит, несколько, мне нужна только одна. У меня ведь только одна голова.

Торговка: Да нет же, я покажу Вам несколько на выбор.

Карл Валентин: Мне не нужен выбор, а нужна шляпа, которая мне будет впору.

Торговка: Конечно же шляпа будет впору: если Вы сообщите мне обхват вашей головы, то я подберу подходящую шляпу.

Карл Валентин: Обхват моей головы не такой неохватный, как вы думаете! Обхват моей головы 55, но мне нужна шляпа 60-го размера.

Торговка: Тогда шляпа будет вам велика.

Карл Валентин: Но сидеть-то она будет хорошо! Если же она будет на пять размеров меньше, то будет спадать.

Торговка: Но это же бессмысленно! Если обхват вашей головы 55, то и размер шляпы должен быть 55! Это с давних пор так.

Карл Валентин: С давних пор! Печально, что торговцы цепляются за нравы и обычаи, а не идут в ногу со временем.

Торговка: Какое же отношение обхват головы имеет к новому времени?

Карл Валентин: Нет уж, позвольте: головы людей не остаются теми же самыми, а постоянно меняются!

Торговка: Внутри, но не снаружи! Но этот вопрос слишком уж много всего охватывает.

Карл Валентин: Да, но Вы же хотите знать обхват!

Торговка: Да, но не нового времени, а Вашей головы.

Карл Валентин: Я всего-то хотел объяснить Вам, что люди в так называемые старые добрые времена имели не такие головы, как сейчас.

Торговка: Это вздор — разумеется, у каждого человека, сколько существует человечество, была своя собственная голова, но ведь мы говорим не о характере, а о размере вашей головы. Поэтому разрешите дать Вам совет — возьмите вот эту шляпу 55-го размера, она стоит пятнадцать марок, красивая и добротная, а также очень модная.

Карл Валентин: Конечно же, я послушаюсь Вашего совета, ведь Вы знаток. Итак, шляпа модная, говорите Вы?

Торговка: Да что сегодня значит модная!? Некоторые господа, так называемые оригиналы, и зимой и летом ходят по улице без шляпы и думают, что они самые модные!

Карл Валентин: Так значит, ходить без шляпы модно? Тогда я её не буду покупать. До свидания!

Перевод Анастасии Майлычко, ученицы 9 класса МАОУ «ШИЛИ», г. Калининград (juggler39@yandex.ru). Перевод занял второе место в номинации «немецкая проза»(2017).

Карл Валентин. В шляпном магазине (1938)

Продавщица: Добрый день, чего изволите?

Карл Валентин: Шляпу.

Продавщица: Какую именно шляпу?

Карл Валентин: Для одевания.

Продавщица: Да, но одеть шляпу вы никак не сможете, ее всегда надевают.

Карл Валентин: Нет, не всегда — в церкви, например, я не могу надеть шляпу.

Продавщица: В церкви нет — но вы же не всегда ходите в церковь.

Карл Валентин: Нет, только там и сям.

Продавщица: Вы, вероятно, хотели сказать — от случая к случаю!

Карл Валентин: Да, я хочу шляпу для надевания и снятия.

Продавщица: Вы можете надевать и снимать любую шляпу! Вы желаете шляпу мягкую или жесткую?

Карл Валентин: Нет, серую.

Продавщица: Я имею в виду — какого фасона?

Карл Валентин: Скучного фасона.

Продавщица: Вы хотите сказать — элегантного фасона; у нас есть огромный выбор шляп элегантных фасонов любых цветов.

Карл Валентин: Любого цвета? — Тогда светло-желтую.

Продавщица: Но светло-желтые шляпы годятся только для карнавала — не будете же вы ходить в светло-желтой мужской шляпе.

Карл Валентин: Ах, я собираюсь ее не носить, а надевать.

Продавщица: В светло-желтой шляпе над вами будут смеяться.

Карл Валентин: Но ведь соломенная шляпа тоже светло-желтая.

Продавщица: Ах, вы хотите соломенную шляпу?

Карл Валентин: Нет, соломенная, на мой вкус, чересчур пожароопасна.

Продавщица: Шляп из асбеста еще, к сожалению, не завезли! — Зато у нас есть прекрасная фетровая шляпа.

Карл Валентин: У мягкой фетровой шляпы есть недостаток — когда она падает с головы на пол, ничего не слышно

Продавщица: Ну, в таком случае вам нужен стальной шлем, его точно будет слышно, если он упадет.

Карл Валентин: Как штатский я не имею права его носить.

Продавщица: Вам пора уже решаться — и поскорее — какую именно шляпу вы хотите.

Карл Валентин: Новую шляпу!

Продавщица: Разумеется, у нас продаются только новые.

Карл Валентин: Но ведь я и хочу новую.

Продавщица: Да, но какую именно?

Карл Валентин: Мужскую!

Продавщица: Мы не продаем дамских шляп!

Карл Валентин: Дамскую шляпу я тоже не хочу!

Продавщица: Вам так тяжело угодить, давайте я покажу вам несколько разных шляп.

Карл Валентин: Что значит несколько, мне нужно только одна. У меня же только одно голова.

Продавщица: Конечно, но, чтобы вы могли выбрать, я покажу вам несколько.

Карл Валентин: Я не хочу выбирать, я хочу только шляпу, которая мне подойдет.

Продавщица: Разумеется, шляпа вам подойдет, если вы мне сообщите объем вашей головы, и тогда я смогу подобрать вам подходящую шляпу.

Карл Валентин: Объем моей головы по объему не такой объемный, как вам кажется! Мой объем головы 55 — но я хочу 60-й размер шляпы.

Продавщица: Но она ведь будет вам велика.

Карл Валентин: Но она хорошо сидит! У меня уже есть на пять размеров меньше, которая сваливается с меня.

Продавщица: Но это бессмыслица! Если объем головы 55, то и размер шляпы должен быть 55! Это всегда было так.

Карл Валентин: Всегда! Это-то и печалит, что люди торговли не могут расстаться со старыми обычаями и привычками и не идут в ногу со временем.

Продавщица: Как связаны объем шляпы и новое время?

Карл Валентин: Позвольте я объясню: головы людей ведь не остаются одними и теми же, но постоянно изменяются!

Продавщица: Внутри — но не снаружи! Мы зашли слишком уж далеко.

Карл Валентин: Действительно, ведь вы же хотели узнать объем!

Продавщица: Но не нового времени, а вашей головы.

Карл Валентин: Я только хотел вам пояснить, что в так называемое старое доброе время у людей была не такая голова, как сегодня.

Продавщица: Чепуха! Естественно, у каждого человека, с тех пор как существует человечество, своя собственная голова, но мы ведь говорим не об их особенностях, а о размере вашей головы. — Так что послушайтесь моего совета, возьмите эту шляпу, объем 55, шляпа стоит пятнадцать марок, она красивая и добротная и к тому же модная.

Карл Валентин: Разумеется, я слушаюсь вашего совета, вы же специалист. Так вы говорите, шляпа модная...

Продавщица: Да, то, что сегодня считают модным! Есть, правда, джентльмены, так называемые оригиналы, которые летом и зимой бегают по улицам без шляпы и убеждены, что это как раз и есть самый писк моды!

Карл Валентин: То есть не носить шляпу вовсе — писк моды? Тогда я ее вовсе не буду покупать. Всего хорошего!

Перевод Марии Богданович, выпускницы Московского государственного университета печати, специальность «Издательское дело и редактирование» (2000). М. Богданович — книговед, историк библиофильства. Кандидат филологических наук. Автор публикаций, посвященных истории зарубежного библиофильства; основатель и главный редактор журнала «Библиофильские известия» и издательства «Инскрипт», автор, редактор, переводчик, автор статей в профессиональной периодике. Живет и работает в Берлине (inscript2008@gmail.com). Перевод занял второе место в номинации «немецкая проза» (2017).

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ

Ilma Rakusa. [für Joseph Brodsky]

War das Sofa rot?
Der Koffer ja Überseekoffer
stand da wie ein Boot
bereit für Amerika. Fahne Koffer
die Bücher im Lot. Das Weggehen
so plötzlich aber Not
und wie sich zeigte
für immer. Jetzt bist du tot.

Es schneite in Leningrad.
Nacht und die Tankstelle
öd wie Brachland. Straßen
Fassaden verwaist
ohne Pracht. Du hast dich auf
leisen Lippen davongemacht
ins Gedicht. So fahren wir
still und gewichtslos durch
deine Stadt. Sprachen nicht.

Die Schuhe der Schritt
die Gasse dein Gesicht
mittendrin. Du stehst am Kanal
im Licht wie bestürzt
und ich weiß nicht
was sagen. Kragen hoch
das Wort eine Wolke vorm Mund
rund. Und lebwohl.
Bis in wie viel Tagen?

Илма Ракуза. (Иосифу Бродскому)

Красный диван?
Чемодан, да дорожный чемодан
Словно плот
К путешествию был готов.
Флаг, чемодан, книги битком.
Твой внезапный отъезд —
Необходим, но как оказалось
Навсегда. А сейчас тебя уже нет.

В Ленинграде шёл снег.
Ночь. Заправка словно
Пустырь. Голые улицы,
Фасады домов.
Ты отсюда беззвучно сбежал
В стихи. Так мы мчались
По городу твоему
Тихо, бесшумно, не говоря.

Туфли. Шаги.
Переулок. И твоё лицо.
Там где-то среди всего.
Ты стоишь у канала на свету

Ильма Ракуза. [Иосифу Бродскому]

Кажется, красным
Был диван. А чемодан —
Как лодка у причала,
Готовая отплыть за океан.
Флаг, чемодан и книги,
Чтобы не качало. Нужда —
Нечаянный уход,
Как оказалось, навсегда.
Теперь тебя не стало.

А в Ленинграде
Шел снег. Бензоколонка
В ночи тускнела, словно
Залежь. Блеска лишены,
Фасады, улицы осиротели. Ты
Сбежал украдкой в тишь
Своих стихов. Легко, неслышно
Летели мы сквозь
Город твой. Без слов.

Ботинки, шаг,
Проулок, посреди —

потерянный.
Я не знаю, что сказать.
Поднятый воротник. Слово, как
облако
Слетевшее с губ. Прощай?!
Навсегда?

*Перевод Юлии Ромашикиной, учителя
МБОУ Гимназии № 2 г. Сарова,
(geinz.juliette2010@yandex.ru). Перевод
занял первое место в номинации
«немецкая поэзия» (2017).*

Твое лицо. Стоишь у волн,
В свету, как будто
Оглушен. Мне нечего
Сказать. Лишь воротник поднять.
И слово — дымка, набежавшая
На губы. Прощай.
Как долго тебя ждать?

*Перевод Елены Вишняковой, выпускницы
Волгоградского государственного
университета, специальность «Перевод и
переводоведение (немецкий и английский
языки)», внештатной переводчицы
(screen-ager@hotmail.com). Перевод занял
первое место в номинации «немецкая
поэзия» (2017).*

Ильма Ракуза. Иосифу Бродскому

Диван был помнится красным?
Чемодан да-да чемодан для дальних
странствий
стоял там как бот спасательный
готовый сквозь туман отплыть в
Америку.
Чемодан как знамя книги
бережно сложены. Отъезд
столь поспешный но иначе никак
и вышло что навсегда. Теперь ты
мёртв. Вот так.

Шёл снег в Ленинграде.
Ночь и на заправке
как на пустоши.
Улицы унылые фасады осиротелые
без прежней роскоши. Ты весь
из заиндевелых губ преобразился в
стих.
И невесомые как призраки
мы молча ехали через твой город.
Город затих.

Ботинки шаги переулок
но всё заслоняет твое лицо.
Ты стоишь на свету на фоне канала
смятение нахлынуло вдруг и
что сказать я не знала.

Ильма Ракуза. Иосифу Бродскому

Кресла алого цвет
Кофр (стертый) дорожный
будто шлюпка стоит
впереди Новый Свет.
В чемодане битком
твоих книг. И побег
неизбежный
покажет
навсегда. Тебя нет.

В Ленинграде снега.
Ночь. Заправка.
Пустынно. Виды улиц
фасадов сиротских.
Ты
беззвучно бежал
в те стихи. И теперь
мы бесшумно въезжаем
сквозь твой город. Молчим.

Ботинки. Их стук.
Переулок. А в центре
лицо. Растерян стоишь
у канала в свету;
и не знаю теперь
что сказать. Поднят ворот.
Слово — облако, круг
возле губ. И прощаюсь.

Ворот поднят
Облаком круглым слово с губ.
Лихом не поминай.
На несколько или на сколько дней
прощай?

Перевод Ольги Сафоновой, старшего преподавателя кафедры иностранных языков №2 Кубанского государственного технологического университета (ons 61@mail.ru). Перевод занял третье место в номинации «немецкая поэзия» (2017).

До скорых?

Перевод Валерии Хайтул, магистра специальности «Филология (Профиль: Русский язык и литература)» филологического факультета Донецкого национального университета (khaitul.ler@gmail.com), занял третье место в номинации «немецкая поэзия» (2017).

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОЗА

Gaëlle Obiégly. Membres inferieurs

Je me suis cassé les jambes plusieurs fois. Parfois, je boite. Je sens venir la pluie. Mes sacrés os. Lunatiques et secrets os.

J'ai connu un moment de répit – en dehors de mes étés — quand mon père s'est cassé la jambe. Son immobilité me plaisait. Il lui était impossible d'atteindre les bouteilles d'alcool, il était calme dans un fauteuil, ses habits étaient propres, il lisait toute la journée, écoutait ses disques, réparait nos jouets brisés. Ma mère ne criait pas. La violence a repris quand il a été remis sur pied.

Je n'ai pas six ans. Sur le parking du supermarché nous croisons le directeur de l'école. Il est dans un fauteuil roulant perfectionné. Personne ne le pousse. Il peut pivoter, aller et venir plus ou moins vite, stopper net. Ma mère le salue et moi aussi. Elle me fait remarquer, après, qu'on ne dit pas «bonjour» mais «bonjour, monsieur». J'enregistre. Le surlendemain, repensant à cela, je dis «bonjour, monsieur» à une dame.

Dans la cantine, monsieur Bréant, le directeur, longe les tables; il regarde si nous mangeons bien. Puis, il s'installe au fond du réfectoire; on lui apporte un plateau. On croirait qu'il prend son petit déjeuner. A la fin du repas, les enfants bondissent et courent vers le préau. Je marche lentement pour ne pas faire envie au directeur qui a les jambes molles.

Parfois, quand l'autocar est plein, je reste debout au fond, sur la plate-forme. Je ne me tiens à rien. Dans les virages, je m'accroupis et souvent je tombe. J'aimerais me casser une jambe. Mon frère est avec ses copains. Mes cascades ne l'intéressent pas.

Sur l'île d'Ios, je dévore un livre de poche acheté dans un kiosque où l'on vend la presse étrangère. Ce sont les Mémoires d'un homme qui a perdu l'usage de ses jambes.

Je crois que j'écrirai un livre pour moi, un énorme livre auquel je rajouterai toujours une page. Jusqu'à ma mort, je lirai le livre que je m'écris. Dans un épais cahier, au stylo noir, l'automne qui suit mes treize ans, je commence. Les mots, ce

sont des personnes; j'ai l'impression d'errer invisiblement, à contresens, dans une foule de jambes.

Mon frère écrit difficilement son prénom. L'institutrice trouve ça normal, elle dit à ma mère «il y a trop de jambes dans Emmanuel, c'est impossible pour un petit comme lui». Je crois qu'écrire c'est vaincre les jambes. Pendant les diners, je glisse sous la table, je m'allonge, j'observe les jambes, j'écoute leurs conversations, je suis sous le monde, dans les pattes du monde.

(Faune. Gallimard, 2005)

Гаэль Обиэгли. Нижние конечности

Много раз я ломал себе ноги. Иногда я хромаю. Я всякий раз чувствую приближение дождя. Проклятые кости. Спрятанные в глубине меня сумасброды.

Помню единственную, помимо летних каникул, передышку — когда отец сломал ногу. Его неподвижность была прекрасна. Он не мог пойти и взять бутылку, сидел себе спокойно в кресле, чисто одетый, читал весь день, слушал диски или чинил нам поломанные игрушки. И мама не кричала. Но побои и скандалы тут же начались снова, как только он снова смог ходить.

Мне нет еще шести лет. На парковке супермаркета мы встречаем директора школы. Он в новейшем инвалидном кресле. Никто его не везет. Он может покрутиться на месте, может ехать вперед и назад, быстрее или медленнее, может четко останавливаться. Мама здоровается с ним, и я тоже. Уже потом, когда мы остаемся одни, мама делает мне замечание, что говорить нужно не просто "здравствуйте", а "здравствуйте, мсье". Я запоминаю. А через день, вспомнив о наставлении, говорю "здравствуйте, мсье" одной даме.

В столовой мсье Бреан, наш директор, движется вдоль столов — проверяет, хорошо ли мы едим. Потом он устраивается в глубине столовой, куда ему приносят поднос. Как будто завтрак в постель. После еды дети вприпрыжку бегут во двор. А я иду медленно, чтобы директору с его ватными ногами не было завидно.

Иногда, когда школьный автобус переполнен, я на задней площадке. И не держусь. На поворотах я присаживаюсь на корточки и частенько падаю. Мне бы хотелось сломать ногу. Мой брат сидит со своими приятелями, плевать ему на мои выкрутасы.

Во время каникул на острове Иос я буквально проглатываю книжонку, купленную в киоске зарубежной печати. Это мемуары человека, которому отказали ноги.

Я принимаю решение написать книгу для себя самого, толстенную книгу, к которой буду все время прибавлять страницу за страницей. И до самой смерти буду читать книгу, которую я себе написал. Черной ручкой, в большой тетради, осенью, которая последовала за моим тринадцатилетием, я начинаю. Слова моей книги как люди — я словно ползу навстречу плотному человеческому потоку, пробираясь меж идущих ног.

Мой брат имя свое и то с трудом может написать. Его учительница считает, что это нормально, она говорит маме: "У Эммануэля все в ноги ушло, писательство — это не его". И я понял — для того, чтобы писать, нужно победить свои ноги. Во время ужинов я соскальзываю под стол, ложусь там рассматриваю ноги, слушаю их разговоры... я спрятался под мир и путаюсь у него под ногами.

(«Фавн», изд-во Галлимар, 2005)

Перевод Анастасии Колгановой, выпускницы Рязанского государственного педагогического университета им. С. А. Есенина, специальность: учитель французского и немецкого языков. Работает переводчиком в Рязанском государственном медицинском университете (e-mail: nastuta@yandex.ru).

Перевод занял второе место в номинации «французская проза» (2017).

Гаэль Обьегли. Нижние конечности

Я ломала ноги несколько раз. Иногда я хромаю. Чувствую, если скоро дождь. Чертовы кости. Ноют по ночам. Тихо, еле слышно ноют...

Однажды я получила хорошую прибавку к летнему отдыху: отец сломал ногу. Неподвижным он мне нравился: так он не мог дотянуться до своих бутылок. Спокойный, опрятно одетый, отец целыми днями сидел в кресле, читал, слушал диски и чинил нам игрушки. И мама не кричала. Когда он поправился, все пошло по-старому.

Мне лет пять. На парковке у супермаркета мы встречаем директора школы. У него коляска последней модели. Коляску не надо толкать, на ней можно крутиться вокруг своей оси, ехать быстро или медленно, можно совсем останавливаться. Мама здоровается. Я тоже. Потом мама говорит мне, что нужно сказать не просто «здравствуйте», а «здравствуйте, господин директор». Я запоминаю. И через пару дней говорю «Здравствуйте, господин директор» какой-то женщине.

В столовой наш директор, господин Бреан, проезжает между рядами. Он смотрит, хорошо ли мы едим. Потом устраивается за столом в глубине зала, ему приносят поднос. Он, кажется, тоже ест. После завтрака все вскакивают и бегут во двор. Я иду медленно — не хочу, чтобы директор завидовал — он-то бегать не может.

Иногда, если в школьном автобусе много народу, я еду стоя. Ни за что не держусь. Когда автобус поворачивает, я приседаю и часто падаю. Я была бы совсем не прочь сломать ногу. Брат сидит со своими друзьями. Мои выкрутасы ему до лампочки.

На острове Иос я залпом прочитываю небольшую книжку: я купила ее в киоске с иностранной литературой. Это воспоминания человека, который потерял ноги.

Я думаю о том, что напишу себе книгу, огромную книгу. Буду вписывать туда по страничке — черной ручкой в толстую тетрадь — и до самой смерти буду ее читать. Мне исполняется тринадцать, и той же осенью я начинаю.

Буквы — те же люди: мне все кажется, что они не замечают меня, идут на меня, а я бреду наперекор, продираюсь сквозь плотную толпу ножек-палочек.

Мой брат, Эмманюэль, часто ошибается, когда пишет свое имя. Учительнице это не кажется необычным, она говорит маме: «Здесь слишком много букв на ножках, в таком возрасте детям сложно с ними справиться». По-моему, писать — значит постоянно побеждать все эти ножки и палочки. За ужином я соскальзываю под стол и, растянувшись на полу, наблюдаю за ними, слушаю их разговоры. Я — под миром, в ногах мира. Среди ножек-палочек.

Перевод Тимура Богоудинова, студента 4 курса бакалавриата Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), переводческий факультет (bogoudinovt@gmail.com).

Перевод занял третье место в номинации «французская проза» (2017)

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ

Guillaume Apollinaire ***

Ô mon très cher amour, toi mon œuvre et que j'aime,
A jamais j'allumai le feu de ton regard,
Je t'aime comme j'aime une belle œuvre d'art,
Une noble statue, un magique poème.

Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même.
Je te crée à jamais pour qu'après mon départ,
Tu transmettes mon nom aux hommes en retard
Toi, la vie et l'amour, ma gloire et mon emblème;

Et je suis soucieux de ta grande beauté
Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière:
C'est moi qui l'ai conçue et faite tout entière.

Ainsi, belle œuvre d'art, nos amours ont été
Et seront l'ornement du ciel et de la terre,
Ô toi, ma créature et ma divinité!

Гийом Аполлинер. * (Вариант 1)**

Сокровище-любовь, ты рук моих создание!
В твоих глазах огонь я навсегда зажжѐг
И взгляда отвести сам от тебя не смог:
Так волшебство влечѐт стиха иль изваянья.

Бессмертная любовь, в потомках ты признание
Заслужишь мне, когда настанет смертный срок.

В тебе изъянов нет, ты поисков итог,
Мой символ, и завет, и смысл существования.

В твой образ я, любя, вложил себя всего,
Но красотой своей гордиться ты не вправе —
Ведь ты мой замысел, мной воплощённый въяве,

Во всей Вселенной нет прекрасней ничего.
Земля и небо наш союз в веках восславят,
Непревзойдённый мой шедевр и божество!

Перевод Ольги Матвиенко, доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета (matvizar@gmail.com), занял первое место в номинации «французская поэзия» (2017).

Гийом Аполлинер. * (Вариант 2)**

Бессмертная любовь, тебя создал поэт!
Зажёг навек я свет в глазах рукой своею,
Невольно пред тобой теперь благоговей:
Так статуя влечёт, картина иль сонет.

И в поколениях тех, кто нам придёт вослед,
Благодаря тебе прославиться сумею,
Ты совершенна — нет свидетельства вернее,
Моя любовь и жизнь, мой символ и завет.

Но в красоте твоей одно смущает «но»:
Тебе самой собой гордиться не пристало,
Мой замысел и плод трудов моих немалых,

Другой такой как ты нет в мире всё равно,
Земля и небо нас с тобою повенчали,
Творение с творцом в тебе воплощено.

Перевод Ольги Матвиенко, доцента кафедры зарубежной литературы Донецкого национального университета

Гійом Аполлінер. ***

Безцінний витвір мій, утілена любове,
В твоїх очах вогонь я засвітив, однак
Перед тобою й сам, зчарований, уклік:
Так мармур вабить нас, картина й дивослово.

І свідчитимеш ти нащадкам знову й знову,
Щоб знав про мене всяк: чим жив, чого досяг,

Лишишся ти в віках, мого безсмертя знак,
Мій ідеал, завіт і спадок мій чудовий!

Щоправда, тут мене бентежить лиш одне:
Завдячуєш мені величну свою вроду,
Таж я тебе створив і дарував свободу.

І славитиме світ повік тебе й мене:
Довершеність таку знайти під сонцем годі,
Небесний мій шедевр і божество земне!

Переклад Ольги Матвієнко, доцента кафедри зарубіжної літератури Донецького національного університету

Гийом Аполлинер. ***

Любовь и жизнь моя! Великой страсти жар!
В твоих глазах огонь, навек зажженный мною.
О, как люблю тебя, живу тобой одною,
волшебный мой шедевр, небес бесценный дар.

Ты помни обо мне, молит тебя творец,
когда во тьму уйду, ты песнями своими,
как эхом донеси потомкам мое имя,
в нем ты девиз и герб, и слава, и венец.

Мне грустно сознавать, что красотой твоей
гордиться не тебе, а вправе мне скорей,
ведь милый образ твой — мной созданный портрет.

Украсит наша страсть земной любви вершины —
две женщины в тебе теперь всегда едины:
создание рук моих и глаз богини свет.

Перевод Александра Пешехонова, председателя Союза архитекторов ДНР, преподавателя Музыкальной академии имени С. С. Прокофьева (г. Донецк) (benserad@gmail.com). Перевод занял третье место в номинации «французская поэзия» (2017).

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОЗА

Jacopo Sannazaro (1458–1530). A la Sampogna (1480–1504)

Ecco che qui si compieno le tue fatiche, o rustica e boscareccia sampogna,
degnа per la tua bassezza di non da più colto, ma da più fortunato pastore che io non
sono, esser sonata. Tu a la mia bocca et a le mie mani sei non molto tempo stata

piacevole esercizio, et ora, poi che così i fati vogliono, imporrà a quelle con lungo silenzio forse eterna quiete. Con ciò sia cosa che a me conviene, prima che con esperte dite sappia misuratamente la tua armonia esprimere, per malvagio accidente da le mie labra disgiungerti, e, quali che elle si siano, palesare le indotte note, atte più ad appagare semplici pecorelle per le selve, che studiosi popoli per le cittadi; facendo sì come colui che offeso da notturni furti nei suoi giardini, coglie con isdegnosa mano i non maturi frutti dai carichi rami; o come il duro aratore, il quale dagli alti alberi inanzi tempo con tutti i nidi si affretta a prendere i non pennuti ucelli, per tema che da serpi o da pastori non gli siano preoccupati. Per la qual cosa io ti prego, e quanto posso ti ammonisco, che de la tua selvatichezza contentandoti, tra queste solitudini ti rimanghi.

A te non si appartiene andar cercando gli alti palagi de princìpi, né le superbe piazze de le popolose cittadi, per avere i sonanti plausi, gli adombrati favuri, o le ventose glorie, vanissime lusinghe, falsi allettamenti, stolte et aperte adulazioni de l'infido volgo. Il tuo umile suono mal si sentirebbe tra quello de le spaventevoli buccine o de le reali trombe. Assai ti fia qui tra questi monti essere da qualunque bocca di pastori gonfiata, insegnando le rispondenti selve di risonare il nome de la tua donna, e di piagnere amaramente con teco il duro et inopinato caso de la sua immatura morte, cagione efficacissima de le mie eterne lacrime e de la dolorosa et inconsolabile vita ch'io sostegno; se pur si può dir che viva, chi nel profondo de le miserie è sepolito.

Dunque, sventurata, piagni; piagni, che ne hai ben ragione. Piagni, misera vedova; piagni, infelice e denigrata sampogna, priva di quella cosa che più cara dal cielo tenevi. Né restar mai di piagnere e di lagnarti de le tue crudelissime disventure, mentre di te rimanga calamo in queste selve; mandando sempre di fuori quelle voci, che al tuo misero e lacrimevole stato son più conformi. E se mai pastore alcuno per sorte in cose liete adoprare ti volesse, fagli prima intendere che tu non sai se non piagnere e lamentarti, e poi con esperienza e veracissimi effetti esser così gli dimostra, rendendo continuamente al suo soffiare mesto e lamentevole suono; per forma che temendo egli di contristare le sue feste, sia costretto allontanarsi da la bocca, e lasciarti con la tua pace stare appiccata in questo albero, ove io ora con sospiri e lacrime abundantissime ti consacro in memoria di quella, che di avere infin qui scritto mi è stata potente cagione; per la cui repentina morte la materia or in tutto è mancata a me di scrivere, et a te di sonare.

Le nostre Muse sono estinte; secchi sono i nostri lauri; ruinato è il nostro Parnaso; le selve son tutte mutole; le valli e i monti per doglia son divenuti sordi. Non si trovano più Ninfe o Satiri per li boschi; i pastori han perduto il cantare; i greggi e gli armenti appena pascono per li prati, e coi lutulenti piedi per isdegno conturbano i liquidi fonti, né si degnano, vedendosi mancare il latte, di nudrire più i parti loro. Le fiere similmente abandonano le usate caverne; gli ucelli fuggono dai dolci nidi; i duri et insensati alberi inanzi a la debita maturezza gettano i lor frutti per terra; e i teneri fiori per le meste campagne tutti communemente ammariscono. Le misere api dentro ai loro favi lasciano imperfetto perire lo incominciato mèle. Ogni cosa si perde, ogni speranza è mancata, ogni consolazione è morta.

Non ti rimane altro omai, sampogna mia, se non dolerti, e notte e giorno con ostinata perseveranza attristarti. Attristati adunque, dolorosissima; e quanto più puoi, de la avara morte, del sordo cielo, de le crude stelle, e de' tuoi fati iniquissimi ti lamenta. E se tra questi rami il vento per aventura movendoti ti donasse spirito, non far mai altro che gridare, mentre quel fiato ti basta.

Né ti curare, se alcuno usato forse di udire più esquisiti suoni, con ischifo gusto schernisse la tua bassezza o ti chiamasse rozza; ché veramente, se ben pensi, questa è la tua propria e principalissima lode, pur che da' boschi e da' luoghi a te convenienti non ti diparta. Ove ancora so che non mancheran di quegli, che con acuto giudizio esaminando le tue parole, dicano te in qualche luogo non bene aver servate le leggi de' pastori, né convenirsi ad alcuno passar più avanti che a lui si appartiene. A questi, confessando ingenuamente la tua colpa, voglio che rispondi, niuno aratore trovarsi mai sì esperto nel far de' solchi, che sempre prometter si possa, senza deviare, di menarli tutti dritti. Benché a te non picciola scusa fia, lo essere in questo secolo stata prima a risvegliare le adormentate selve, et a mostrare a' pastori di cantare le già dimenticate canzoni. Tanto più che colui il quale ti compose di queste canne, quando in Arcadia venne, non come rustico pastore ma come coltissimo giovane, benché sconosciuto e peregrino di amore, vi si condusse. Senza che in altri tempi sono già stati pastori sì audaci, che insino a le orecchie de' romani consuli han sospinto il loro stile; sotto l'ombra de' quali potrai tu, sampogna mia, molto ben copirti e difendere animosamente la tua ragione.

Ma se forse per sorte alcun altro ti verrà avanti di più benigna natura, il quale con pietà ascoltandoti mandi fuori qualche amica lacrimetta, porgi subitamente per lui efficaci preghi a Dio, che ne la sua felicità conservandolo, da queste nostre miserie lo allontane. Ché veramente chi de le altrui avversità si dole, di se medesimo si ricorda. Ma questi io dubito saranno rari e quasi bianche cornici; trovandosi in assai maggior numero copiosa la turba de' detrattori. Incontra ai quali io non so pensare quali altre arme dar mi ti possa, se non pregarti caramente, che quanto più puoi rendendoti umile, a sustinere con pazienza le lor percosse ti disponghi. Benché mi pare esser certo, che tal fatica a te non fia necessaria, se tu tra le selve, sì come io ti impongo, secretamente e senza pompe star ti vorrai. Con ciò sia cosa che chi non sale, non teme di cadere; e chi cade nel piano, il che rare volte adiviene, con picciolo agiuto de la propria mano, senza danno si rileva. Onde per cosa vera et indubitata tener ti puoi, che chi più di nascoso e più lontano da la moltitudine vive, miglior vive; e colui tra' mortali si può con più verità chiamar beato, che senza invidia de le altrui grandezze, con modesto animo de la sua fortuna si contenta.

Якопо Саннадзаро. Аркадия. К свирели

Вот тут и оканчиваются твои тяготы, о, безыскусная лесная свирель, достойная простотой своей оживать в руках не образованнейшего, но счастливейшего пастуха, коим я не являюсь. Моим устам и рукам моим недолго служила ты любезным упражнением, и теперь, как желают того божественные фаты, вместе с печатью долгого молчания наложишь ты на них, быть может, и

вечный покой. Потому-то было бы мне радостно, перед тем, как под опытными пальцами станешь ты по всей науке изливать гармонию свою, от моих уст злосчастливым случаем оторванная, извлечь незатейливые ноты, рождаемые скорее, чтобы утешить невзыскательных овечек в рощах, нежели учёных жителей городов; поступая как тот, кто, раздосадованный ночными набегами на свои сады, обрывает надменной рукой незрелые фрукты с отягощённых веток; или же как суровый пахарь, который в кронах высоких деревьев прежде времени спешит со всех гнёзд неоперившихся птенцов собрать, беспокоясь, как бы не привлекли они внимания змей или пастухов. И потому-то прошу тебя и, как могу, предостерегаю, чтобы, первобытной простотою своей удовольствовавшись, этих пустынных мест ты не покидала.

Не подобает тебе бродить по свету в поисках княжеских дворцов и многолюдных городов с их прекрасными площадями, в чаянии шумных рукоплесканий, ненадёжных покровительств, тщеславных восхвалений, пустейшего угодничества, фальшивых соблазнов, бессмысленной и неприкрытой лести переменчивой черни. Твои смиренные звуки пробивались бы лишь едва сквозь рёв устрашающего военного рога или королевских труб. Тебе довольно будет и тут, среди этих холмов, быть дыханием какого-то пастуха наполненной, призывая внемлющие рощи повторять имя госпожи твоей и горько оплакивать с тобой жестокие и неожиданные обстоятельства её преждевременной смерти, убедительнейший повод вечных моих слёз и скорбной и безутешной жизни, влачимой мною; если можно ещё назвать живым того, кто под глубокими горестями погребён.

Так вот же плачь, плачь, злополучная, ты имеешь на это полное право. Плачь, горемычная вдова, плачь, несчастная и оклеветанная, лишённая самого ценного, что было даровано тебе небесами. Пусть звучит без устали плач твой, и твои жалобы об ужаснейших злоключениях, пока хоть частица тебя остаётся в этих рощах, изливая тоскливые трели, что несчастьем твоему и плачевному положению более всего подобает. А если какой-нибудь пастух волей случая весёлыми шутками вздумает тебя испытывать, то наперёд покажи ему, что ты умеешь лишь плакать и жаловаться, а затем при всяком случае убеждай его достовернейшими доказательствами, что в этом суть твоя, без конца издавая, наполненная его дыханием, горестный и жалобный звук; таким образом, чтобы, страшась навести тоску на празднествах своих, был он вынужден убрать тебя от уст подальше и оставить тебя с миром висеть на этом дереве, которому я тебя нынче со вздохами и обильнейшими слезами посвящаю, в память о той, что стала главнейшей причиной всего, что до этого дня мною было написано, и вследствие чьей внезапной смерти нет больше никакого повода ни мне писать, ни тебе заливаться.

Нет больше Муз наших; иссохли наши лавровые деревья; в запустении наш Парнас; рощи все погрузились в молчание; долины и холмы объаты горем. В лесах уж не увидишь больше нимф или сатиров; не льются пастушеские песни; гурты и стада едва щиплют траву на лугах и грязными копытами в бешенстве мутят воды источников, и, лишённые молока, не удосуживаются более заботиться о пропитании потомства. Хищники покидают обжитые

берлоги; птицы стремятся прочь от своих уютных гнёздышек; жестокие и обезумевшие деревья, не дождавшись, пока плоды их должным образом созреют, сбрасывают их на землю; и нежные цветы среди печальных полей увядают все разом. Несчастные пчёлы оставляют пропадать в сотах едва взявшийся, невызревший мёд. Всё потеряно, всякая надежда рухнула, всякое утешение погибло.

Не остаётся для тебя теперь ничего другого, моя свирель, как сетовать, днём и ночью с настойчивым упорством печалиться. Так печалься, о горестнейшая; печалься, как только можешь, о ненасытной смерти, о небе, глухом к мольбам, о безучастных звёздах, и о твоих несправедливейших фатах жалуйся. И если случится, что среди этих ветвей ветер, качнув, оживит тебя своим дуновением, только жалобный крик твой пусть будет слышен, покуда хватит тебе дыхания.

Не беспокойся, если кто-нибудь, привычный, быть может, к более изысканным звукам, станет насмехаться презрительно над твоей простотой или назовёт тебя незатейливой; что по правде, если хорошо подумать, есть тебе настоящая и главнейшая похвала, если только не покинешь ты лесов и мест, тебе подходящих. Там, где всё ещё, знаю я, не будет недостатка в тех, которые, со строгим суждением выслушивая слова твои, укажут тебе, что не должно пренебрегать хоть в чём-либо пастушескими законами, и отправляться за пределы мест, по рождению подлежащих. Вот им, признавши наивно вину свою, отвечай, как я желаю, что ни один пахарь не научится с превеликой ловкостью борозды размечать, когда не сможет поручиться, что будет всегда неуклонно и ровно вести их вперёд. Хотя тебе немалым прощением послужит, что ты в ту пору будешь первой, кто оживит объятые сном рощи, и пастухов давно забытые песни петь научит. Тем паче, что тот, кто, пришед в Аркадию, из тростника тебя смастерил, появился в этих местах не неотёсанным пастухом, но образованнейшим, хотя и неизвестным, бегущим от любви юношей. Не говоря уж о том, что в прежние времена бывали пастухи столь удалые, что слава об игре их до римских консулов долетала; под сенью памяти их ты сможешь, моя свирель, найти надёжную защиту и правоту свою с пылкостью отстаивать.

Но если, быть может, волею судьбы, другой человек тебе встретится, по природе добросердечный, который, слушая тебя с жалостью, несколько душевных слезинок проронит, вознеси о нём, не медля, жаркие молитвы к Богу, чтобы, оставив его пребывать в его счастии, от наших бедствий его отворотил. Потому что, воистину, кто о чужих невзгодах горюет, тот себя в своих бедах вспоминает. Но, думается мне, такие редко встретятся, это дикий птицы; коли много таких было бы на белом свете, в великое смятение бы пришли клеветники да сплетники. И если тебе суждено с такими столкнуться, ума не приложу, каким оружием против них снабдить тебя я бы мог, если только не умолять тебя сердечно готовой быть, как можно более смиренно настроившись, их щелчки терпеливо сносить. Хотя кажется мне наверное, что тягот этих удастся тебе избежать, ежели среди рощ, как мною тебе назначено, согласишься ты без пышности, в уединении остаться. Так вот будь той, что, не возвышаясь, не боится падения; а кому доведётся на ровном месте оступиться,

как изредка случается, тот сам без посторонней помощи и без ущерба для себя поднимается. Посему истинным и несомненным считать можешь, что тот, кто в наибольшем уединении и от скоплений человеческих в наибольшем отдалении живёт, тот лучше живёт; и кто среди смертных поистине блаженным назвать себя может, так это тот, кто без зависти к возвышению других, смиренный духом, судьбой своей довольствуется.

Перевод Полины Дроздовой, инженера по первому образованию, магистра филологического факультета СПбГУ (специальность «перевод с итальянского языка») (paulina.drozdova@gmail.com). Перевод занял второе место в номинации «итальянская проза» (2017).

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Giosuè Carducci. San Martino

La nebbia a gl'irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de' tini
va l'aspro odor de i vini
l'anime a rallegrar.

Gira su' ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fischiando
sull'uscio a rimirar

tra le rossastre nubi
stormi d'uccelli neri,
com'esuli pensieri,
nel vespero migrar.

Джозуэ Кардуччи. День св. Мартина

Туман дождём восходит
в колючие предгорья,
кричит и бьётся море,
пока идёт мистраль;

но в маленьком посёлке
над каждым винным чаном
гуляет запах пьяный
и гонит прочь печаль.

Под вертелом горячим
искрятся капель сотни:
свистит под нос охотник,
пытаясь различить,

закат меж облаками,
где смоляные птицы,
как мыслей вереницы,
мигрируют в ночи.

Совместный перевод Анастасии Губайдуллиной и Розы Компарелли, занял третье место в номинации «итальянская поэзия» (2017). А. Губайдулина (gubgub@mail.ru) окончила филологический факультет Томского государственного университета. Преподаёт на кафедре истории русской литературы XX в. НИ ТГУ, курирует студентов специальности «Литературное творчество». Член Союза российских писателей. Роза Компарелли — канд. филол. н. ТГУ, г. Томск (rosa.comparelli@gmail.com)

ИСПАНСКАЯ ПРОЗА

Пío Baroja. El mundo es así (1912)

El sacristán nos condujo a la capilla y salió después a avisar al pope. La capilla, grande, silenciosa, obscura, estaba imponente. La vaga luz del crepúsculo entraba por un alto ventanal y dejaba la nave en una semiobscuridad incierta.

Los dos novios y los dos testigos esperamos algo impresionados.

De pronto se abrió una puerta próxima al altar y apareció el pope vestido de blanco. Era un hombre joven, de barba roja, nariz afilada, anteojos y melena.

Los novios avanzaron hasta ponerse frente a él y los dos testigos nos quedamos unos pasos atrás.

El pope encendió dos velas, y, con ellas en la mano izquierda, bendijo sólo al novio con la derecha, luego puso un dedo sobre la frente de la novia y dio una vela a cada uno de los desposados.

El mozo del hotel tenía un aire tan extraño y tan solemne, con los pelos negros encrespados, la nariz corva, dirigida amenazadoramente hacia el cielo, la actitud gallarda y los guantes blancos en las manos cruzadas, que me daba ganas de reír.

Para dominar la inoportuna tendencia a la risa, me puse lo más compungido posible, haciéndome cuenta de que me encontraba en una ceremonia fúnebre.

El acólito trajo dos coronas grandes con piedras de colores, me dio una a mí, otra al mozo, y los dos tuvimos que sostenerlas sobre la cabeza de los novios.

El pope llevaba de la mano a los desposados hacia adelante y hacia atrás; los testigos teníamos que avanzar y retroceder con las coronas a pulso, caí^{ga} un poco pesada.

Mientras tanto, el acólito comenzó a recitar una oración en la que se oía a cada paso la palabra Gospodin. El pope contestaba cantando e incesando a los novios.

Luego cambiaron el anillo y bebieron agua, y después vino en la misma copa.

Пио Бароха. Таков мир (фрагмент, 1912)

Пономарь провел нас в часовню и, предупредив священника, вышел. Часовня была впечатляющей: величественная, безмолвная и темная, где слабый сумеречный свет проникал лишь из большого высокого окна, а неф оставался в смутном полумраке.

Жених, невеста и два свидетеля застыли в ожидании.

Вскоре рядом с алтарем открылась дверца, из которой показался поп в белых одеждах. Это был молодой остроносый мужчина в очках, с рыжей бородой и волосами до плеч.

Брачующиеся приблизились к священнику, а мы со вторым свидетелем встали позади них.

Поп зажег две свечи и, держа их в левой руке, правой рукой благословил только жениха, затем одним пальцем коснулся лба невесты и передал каждому из них по свече.

Меня распирало от смеха, когда я смотрел на отельного коридорного. Он был такой торжественный и чинный: скрещенные на груди руки в белых

перчатках, молодцеватая осанка, нос, угрожающе вздернутый к самому небу, и темные вьющиеся волосы. Чтобы подавить этот несвоевременный порыв, я напустил на себя столь печальный вид, что можно было бы решить, что я нахожусь на похоронах.

Служка принес два венца, украшенных большими разноцветными камнями, и вручил их нам с коридорным чтобы мы держали их над головами венчающихся. Поп водил их за руку то вперед, то назад, а мы то подходили, то отступали, следя за тем, чтобы венцы поспевали за головами молодых (а это нелегкая ноша, скажу я вам).

Тем временем дьячок начал произносить молитву, в которой постоянно встречалось слово «Господи». Священник нараспев отвечал ему и кадил новобрачных. Затем они обменялись кольцами, выпили из одной чаши сперва воды, а потом вина.

Перевод Дарьи Снытниковой (dakutagava@yandex.ru), занял первое место в номинации «испанская проза» (2017).

Пио Бароха. Таков мир. 1912. Фрагмент

Алтарник привёл нас в придел и, позвав священника, вышел. Большое, тёмное помещение с царившим вокруг безмолвием производило сильное впечатление. Слабый сумеречный свет, проникавший сквозь большое высокое окно, освещал тонувшее в полумраке пространство.

Жених с невестой и мы, свидетели, с волнением ожидали предстоящего.

Внезапно ближайшая дверь в алтарь открылась, и появился облачённый в белые одежды священник. Это был рыжебородый, с роскошной шевелюрой остроносый молодой человек в очках.

Жених и невеста подошли к нему, а мы остались стоять в нескольких шагах позади них.

Священник зажёл две свечи и, держа их в левой руке, правой благословил жениха. Потом приложил палец ко лбу невесты и дал венчающимся по свече.

Взглянув на служащего из отеля — черноволосого, кудрявого парня, я чуть было не рассмеялся. Он стоял с таким важным и торжественным видом, скрестив руки в белых перчатках, что горбатый нос его, казалось, был устремлён к небу.

Чтобы удержаться от смеха, я сделал серьёзное лицо, представив, что нахожусь на похоронах.

Алтарник принёс два больших венца, украшенных самоцветами, один дал мне, другой — парню, чтобы мы держали их над головами молодых.

Батюшка трижды обвёл венчающихся вокруг аналая. Мы следовали за ними с венцами на вытянутой руке, что было немного тяжеловато.

Тем временем алтарник начал читать молитву, в которой постоянно звучало слово «Господи». Священник отвечал нараспев, благословляя жениха и невесту.

Молодые обменялись кольцами, выпили из одной чаши воды, а потом вина.

Перевод Татьяны Бусловой, журналиста, магистра филологии. В 2008 г. окончила институт Сервантеса, переводчик; в 2016 г. окончила КГУ по специальности «45.04.01 Филология». Защитила магистерскую диссертацию «Фразеологизмы романа Дон Кихот в переводе с испанского языка на французский и русский языки». Автор и переводчик двуязычного сборника «Рассказы» (М.: Глобус, 2011), монографии «El misterio de Don Quijote» (Toledo: Celya, 2012) и др. Живет в г. Королёв Московской обл. (busl.tatiana@yandex.ru). Перевод занял первое место в номинации «испанская проза» (2017).

Пио Бароха. Таков уж мир (1912). Фрагмент

Пономарь проводил нас в придел и вышел известить о нашем приходе попа. Придел — просторный, безмолвный и темный — впечатлял своей внушительностью. Тусклый сумеречный свет проникал внутрь через большое высокое окно, оставляя неф погруженным в неясный полумрак. Жених с невестой и мы, двое свидетелей, пребывали в несколько волнительном ожидании.

Вскоре отворилась ближняя к алтарю дверь и оттуда появился облаченный в белоснежное поп. Это был молодой рыжебородый человек с пышной копной волос и в очках, державшихся на тонком носу.

Жених с невестой приблизились и встали прямо перед ним, а мы, свидетели, остались стоять в паре шагов позади. Поп зажег две свечи и, держа их в левой руке, правой благословил жениха, затем коснулся пальцем лба невесты и дал брачующимся по свече.

У служащего из отеля был такой диковинный и торжественный вид, с этими его черными кудрями, угрожающе задранном к небу горбатым носом, лихой выправкой и скрещенными на груди руками в белых перчатках, что меня так и тянуло рассмеяться. Чтобы справиться со столь неподобающей обстоятельством улыбкой, я принял самый сокрушенный облик, который только мог, представляя, что присутствую на погребальной церемонии.

Служка принес два больших венца с разноцветными камнями, один он дал мне, а второй — моему спутнику: мы должны были держать эти венцы над головами жениха и невесты.

Поп, взяв жениха и невесту за руки, то выводил их вперед, то отводил назад. Нам же, свидетелям, приходилось следовать за ними и снова отступать обратно, удерживая на вытянутых руках не очень-то легкие венцы.

Тем временем пономарь принялся читать молитву, в которой то и дело проскакивало слово «Gospodin». Поп нараспев вторил молитве, обмахивая жениха с невестой кадилом, после чего те обменялись кольцами и выпили из общей чаши сначала святой воды, а затем вина.

Перевод Марии Лабай, переводчицы и студентки 4 курса факультета иностранных языков МПГУ (Московского педагогического государственного университета), специальность — преподаватель испанского и английского языков (l-maria015@mail.ru). Перевод занял второе место в номинации «испанская проза» (2017).

Пио Барроха. Мир таков

Пономарь сопровождал нас в часовню и вышел доложить священнику. Часовня, большая, тихая и мрачная, потрясала своей внушительностью. Сумеречный свет лениво проникал сквозь окно высоко вверх, оставляя проход в неясном полумраке.

И, впечатленные, мы, жених с невестой и оба свидетеля, замерли в ожидании.

Неожиданно ближайшая к алтарю дверь отворилась и появился поп, облаченный в белое. Это был молодой мужчина с рыжей бородой, тонким заостренным носом, в пенсне и с гривой волос.

Он зажег свечи и, держа их в левой руке, правой благословил только жениха. Затем приложил палец ко лбу невесты и вручил брачующимся по свече. Жених с невестой подались вперед, чтобы встать напротив него, а мы, два свидетеля, остались в нескольких шагах позади.

У гостиничного слуги, с его черными курчавыми волосами, крючковатым носом, угрожающе задранном к небу, бравой осанкой и белыми перчатками на скрещенных руках, был такой диковинный и торжественный вид, что мне хотелось рассмеяться.

Чтобы подавить неуместный приступ смеха я напустил на себя самый расстроенный вид, на который был только способен, представив, будто присутствую на траурной церемонии.

Церковный служка принес два венца, громоздких, все в разноцветных камнях. Один он вручил мне, другой — рассыльному, и нам полагалось удерживать их над головами молодых. Поп за руки туда и обратно водил жениха и невесту, а мы, свидетели, должны были поспевать за ними, то двигаясь вперед, то пятясь назад, с венцами на вытянутых руках, грузом, надо заметить, не легким. Тем временем служка стал размеренно читать молитву, в которой через слово слышалось “господи”.

Поп вторил ему нараспев, дымя кадилом на новобрачных.

Затем молодые обменялись кольцами и отпили воды, а после — из той же чаши — и вина.

Перевод Гиланы Килгановой (gilanita4@gmail.com), занял третье место в номинации «испанская проза» (2017).

ЧЕШСКАЯ ПРОЗА

Karel Čapek. Anglické Listy. Anglický Park

Stromy jsou snad to nejkrásnější v Anglii. Také ovšem louky a strážníci, ale hlavně stromy, krásně plecité, staré, rozložitě, volné, ctihodné a převeliké stromy. Stromy v Hampton Courtu, Richmond Parku, Windsoru a já nevím kde ještě. Možná že ty stromy mají velký vliv na torysmus v Anglii. Myslím, že udržují aristokratické pudy, historismus, konzervativnost, celní ochranu, golf, dům lordů a jiné zvláštní a

staré věci. Byl bych asi náruživým labouristou, kdybych bydlil v ulici Železných Balkónů nebo v ulici Šedivých Cihel; ale sedě pod dubem křemelákem v Hampton Parku pocítil jsem v sobě povážlivou náklonnost uznávat hodnotu starých věcí, vyšší poslání starých stromů, harmonickou košatost tradice a jakousi úctu ke všemu, co je dosti silné, aby se udrželo po věky.

Zdá se, že v Anglii je mnoho takových prastarých stromů; skoro ve všem, co tu člověk potkává, v klubech, v literatuře, v domácnostech, je nějak cítit dřevo a listí staletých, ctihodných a strašně solidních stromů. Tady vlastně člověk nevidí nic okázale nového; jenom podzemní dráha je nová, a proto asi je tak ošklivá. Ale staré stromy a staré věci mají v sobě skřítky, duchy výstřední a šprýmovné; také Angličané mají v sobě skřítky. Jsou nesmírně vážní, solidní a ctihodní; najednou to v nich nějak zaharaší, řeknou něco pitvorného, vyletí z nich drobet skřítkového humoru, a už zas vypadají vážně jako stará kožená židle; jsou asi ze starého dřeva.

Nevím ani proč, ale tato strážlivá Anglie mi připadá nejpohádkovější a nejromantičtější ze všech zemí, které jsem viděl. Snad je to pro ty staré stromy. Nebo ne: to asi dělají trávníky. To dělá to, že se tady chodí po lukách místo po cestíčkách. My ostatní si troufáme chodit jen po cestách a pěšinách; to má jistě ohromný vliv na náš duševní život. Když jsem viděl prvního gentlemana brouzdat se po trávníku v Hampton Parku, myslil jsem, že je to pohádkový tvor, ačkoli měl cylindr; čekal jsem, že pojedou do Kingstonu na jelenu nebo že začne tančit, nebo že na něj přijde zahradník a strašně mu vynadá. Nestalo se nic, a konečně i já jsem se odvážil pustit se rovnou přes louku k onomu dubu křemeláku, který stojí na začátku tohoto listu na krásném palouku. Nestalo se nic dál; ale nikdy jsem neměl pocit tak neomezené svobody jako v tomto okamžiku. Je to velmi zvláštní: tady patrně člověk neplatí za škodné zvíře. Tady není o něm ponuré mínění, že pod jeho kopyty tráva neroste. Tady má právo jít po louce, jako by byl rusalka nebo velkostatkář. Myslím, že to má značný vliv na jeho povahu a světový názor. Otvírá to zázračnou možnost jít jinudy než cestou a přitom sebe sama nepovažovat za škodnou, rošťáka nebo anarchistu.

O tom všem jsem přemítal pod dubem v Hampton Parku, ale posléze i staré kořeny tlačí. Posílám vám aspoň obrázek, jak takový anglický park vypadá. Chtěl jsem tam nakreslit také jelena, ale přiznávám se, že jej z paměti nedovedu.

Карел Чапек. Английские письма. Английский парк

Я думаю, что самые красивые деревья — в Англии. Конечно, луга и полицейские тоже, но прежде всего, деревья — раскидистые, старые, ветвистые, свободные, солидные огромные деревья. Деревья в Хэмптон-корте, Ричмонд парке, Виндзоре, да и не знаю, где еще. Возможно, они сильно влияют на туризм в Англии. Думаю, они и есть та корневая система, на которой держатся историзм, консерватизм, таможня, гольф, пэрство и другие старые чисто английские атрибуты. Я бы был истовым лейбористом, если бы жил на

улице Железных балконов или Серых кирпичей; сидя же под дубом в Хэмптон парке, я почувствовал вдруг в себе серьезное желание осознавать ценность старых вещей, высшее предназначение старых деревьев, гармоничную витиеватость традиций и некоторое почтение ко всему, что в достаточной степени устойчиво, чтобы продержаться столетия.

Мне видится, что в Англии много вековых деревьев; они везде, во всем, что человек встречает на своем жизненном пути — в английских клубах, литературе, домашнем укладе, везде можно почувствовать запах древесины и листьев столетних, почтенных и очень солидных деревьев. Здесь человек в сущности не видит ничего поражающе нового; только метро современное, и поэтому такое ужасное. В старых деревьях обитают удивительные существа — то ли гномы, то ли эльфы, духи весьма эксцентричные и остроумные; в самих англичанах они тоже живут. Эти создания чрезвычайно серьезные, важные и почетные; в них может неожиданно что-то вспыхнуть, они скажут нечто гротескное, вылетит из них частичка чудаковатого юмора — и в следующий миг моментально становятся важными, как старое кожаное кресло; точно сделаны из старого дерева.

Я не могу объяснить, почему, но эта рассудительная степенная Англия для меня самая сказочная и романтическая из всех стран, где мне довелось побывать. Вероятно, все это из-за деревьев. Хотя нет: наверное, все это из-за газона. Дело в том, что тут по лужайкам ходят, а не по дорогам. Мы, остальные, осмеливаемся передвигаться только по дорогам и тропинкам; ясное дело, что это в значительной степени влияет на наше душевное состояние. Когда я впервые увидел джентльмена, гуляющего по траве в Хэмптон парке, я подумал, что он какой-то сказочный персонаж, хотя он и был в цилиндре; я ждал, когда он поедет в Кингстон на олене, или танцевать начнет, или к нему подойдет садовник и страшно отругает. Ничего из этого не произошло, и в конце концов я тоже решился пересечь парк, чтобы добраться до векового дуба на красивом лугу, о котором я уже упоминал в начале этого письма. И снова ничего не случилось; никогда еще в жизни у меня не было ощущения такой неограниченной свободы, как в тот момент. Это нечто особенное: здесь, вероятно, человека не считают животным, приносящим вред. Тут о нем не складывается мнение, что под его копытами трава не растет. Здесь он имеет право идти по лужайке, как если бы был русалкой или помещиком. Я думаю, это оказывает огромное влияние на характер человека и на его представление о мире. Ему открывается чудесная возможность идти другим путем — не по дороге, и при этом не считать себя вредителем, хулиганом или анархистом.

Об этом всем я размышлял, сидя под дубом в Хэмптон-парке, но все же старые корни тоже могут стеснять. Посылаю вам хотя бы картинку с изображением того, как выглядит этот типичный английский парк. Хотел вам нарисовать еще и оленя, но по памяти, боюсь, не смогу.

*Перевод Анастасии Дудкиной, преподавателя СПбГУ (anastasiadudkina@mail.ru).
Перевод занял первое место в номинации «чешская проза» (2017).*

Карел Чапек. Английские письма. Английский парк

Деревья, наверное, это самое красивое в Англии. Ещё, конечно, луга и полицейские, но главное деревья, плечистые, старые, развесистые, вольные, почтенные и величественные деревья. Деревья в Хэмптон-Корте, Ричмонд-парке, Виндзоре и не знаю где ещё. Возможно, эти деревья оказывают большое влияние на туризм в Англии. Думаю, они удерживают аристократические земли, историчность, консервативность, таможенную защиту, гольф, дом лордов и другие необычные и старые вещи. Наверное, я был бы заядлым лейбористом, если бы я жил на улице Железных Балконов или на улице Серых Кирпичей; но, сидя под летним дубом в Хэмптон-парке, я почувствовал в себе серьёзное желание узнавать ценность старых вещей, высшее назначение старых деревьев, гармоничное богатство традиции и какое-то уважение ко всему, что достаточно сильное для того, чтобы сохраниться на века.

Кажется, что в Англии много таких старинных деревьев; почти во всём, что человек встречает здесь — в клубах, в литературе, в хозяйстве — каким-то образом ощущается дерево и листва столетних, почтенных и невероятно солидных деревьев. Здесь человек вообще не видит ничего торжественно нового; только подземная дорога новая и поэтому, видимо, такая безобразная. Но у старых деревьев и старых вещей есть свои гномы, духи эксцентричные и озорные; у англичан тоже есть свои гномы. Они безмерно серьёзные, солидные и почтенные; вдруг у них что-то зашуршит, они скажут что-нибудь гротескное, из них вылетит капелька гномьего юмора, и они снова выглядят серьёзными, как старый кожаный стул; они будто из старого дерева.

Даже не знаю почему, но эта рассудительная Англия кажется мне самой сказочной и романтической из всех стран, которые я видел. Наверное, из-за этих старых деревьев. Или нет: возможно, её такой делают газоны. Она такая из-за того, что люди здесь ходят по лугам вместо дорожек. Мы, остальные, осмеливаемся ходить только по дорожкам и тропинкам; это однозначно очень сильно влияет на нашу душевную жизнь. Когда я в первый раз увидел, как джентльмен гуляет по газону в Хэмптон-парке, я подумал, что это сказочный персонаж, потому что у него был цилиндр; я ожидал, что он поедет до Кингстона на олене, или что он начнёт танцевать, или что к нему придёт садовник и сильно его отругает. Ничего не произошло, наконец и я решился отправиться напрямую через луг и к тому летнему дубу, который стоит в начале этого письма на красивой лужайке. Ничего не произошло и потом; но у меня никогда не было чувства настолько безграничной свободы, как в тот момент. Это очень необычно: здесь, видимо, человек не считается вредным животным. Здесь о нём нет такого мрачного мнения, будто под его копытами трава не растёт. Здесь он имеет право идти по лужайке, будто он русалка или крупный землевладелец. Думаю, это имеет значительное влияние на его характер и мировоззрение. Это открывает чудесную возможность идти не только по дороге, при этом не считать самого себя хищным животным, проказником или анархистом.

Обо всём этом я размышлял под дубом в Хэмптон-парке, но наконец и старые корни начинают давить. Посылаю вам хотя бы рисунок, как такой английский парк выглядит. Я хотел там нарисовать ещё и оленя, но, признаюсь, по памяти его не передам.

Перевод Регины Ивановой, студентки 4 курса СПбГУ, специальность «Чешский язык» (reginaivanovafm@mail.ru). Перевод занял второе место в номинации «чешская проза» (2017).

Карел Чапек. Английские письма. Английский парк.

Деревья, возможно, — самое прекрасное, что есть в Англии. Так же, конечно, примечательны и луга с охраной, но главное всего деревья. Красивые, широкие, старые, раскидистые, свободно растущие, почтенные и величественные деревья. Деревья в Хэмптон-Корте, Ричмонд-Парке, Виндзоре и Бог знает, где ещё. Вполне вероятно, что эти деревья имеют большое влияние на туризм в Англии. Думаю, именно они сохраняют земли аристократов, монархию, консервативность, гольф, палату лордов и другие своеобразные архаизмы. Я мог бы быть убеждённым лейбористом, если бы жил на улице Железных Балконов или Серых Кирпичей, но, сидя под каменным дубом в Хэмптон-Парке, я всерьёз был склонен соглашаться со значением старых вещей, высшим предназначением древних деревьев, традициями, гармонично пронизывающими жизнь, и испытывать уважение ко всему, что оказалось достаточно крепким, чтобы пройти сквозь время.

Кажется, что в Англии много таких старых деревьев: почти во всём, с чем соприкасается человек — в клубах, в литературе, в домашнем хозяйстве, так или иначе ощущается древесина и листва вековых, важных и ужасно солидных деревьев. Собственно, здесь вы не откроете для себя ничего значительно нового: разве что подземку (возможно, потому она так отвратительна). Но такие старые деревья и старые вещи в целом таят в себе домовых — эксцентричных и плутоватых духов; скрываются они и в англичанах. Англичане бесконечно серьёзны, солидны и чопорны, но внезапно в них разыграет что-то, и они выдадут нечто уморительное, капельку «домового» юмора, а после опять станут важными, как старое кожаное кресло. Они, полагаю, сами сделаны из старого дерева.

Не знаю почему, но эта рассудительная Англия кажется мне самой сказочной и романтической страной из всех, что я видел. Возможно, из-за старых деревьев. Или нет: может быть, дело в газонах. Ведь ходят здесь не по тропинкам, а по траве. Мы же смеем ходить лишь по дорогам и тропам, что, несомненно, оказывает огромное воздействие на наш образ мыслей. Когда я впервые увидел джентльмена, бродившего по газону Хэмптон-Парка, я подумал, что это сказочное существо, только с цилиндром на голове. Я ожидал, что он поедет до Кингстона на олене или начнёт отплясывать, или что придёт сторож и страшно его отругает. Но ничего такого не случилось, и, в конце концов, и я отважился пойти через луг к каменному дубу, который нарисован

на краешке этого листа на красивой лужайке. Ничего не произошло и после; никогда ещё я не чувствовал такой безграничной свободы, как в тот момент. Это очень странно: вероятно, человек не считается здесь вредителем. Здесь не распространено это мрачное представление, что под его ногами трава не растёт. В Англии он вправе ходить по лужайкам, словно русалка или крупный помещик. Думаю, это имеет значительное влияние на его характер и взгляд на мир. Это открывает для него чудесную возможность ходить иным путём, чем обычно, не считая себя при этом паразитом, нарушителем или анархистом.

Обо всём этом я размышлял, сидя под дубом в Хэмптон-Парке, пока старые корни не начали давить на меня. Отправляю вам этот рисунок с изображением английского парка. Я хотел нарисовать ещё здесь оленя, но, честно сказать, по памяти не смогу.

Перевод Екатерины Бердышевой, студентки 4 курса Удмуртского государственного университета Института языка и литературы (лингвистика, английский язык), г. Ижевск (kateberdysheva@yandex.ru). Перевод занял второе место в номинации «чешская проза» (2017).

Карел Чапек. Английские письма. Английский парк

Пожалуй, деревья — прекраснейшее, что есть в Англии. Конечно, хороши и луга, и полисмены, но всё-таки лучше всего — деревья, эти могучие, старые, раскидистые, свободные, почтенные деревья-великаны. Деревья в Хэмптон-Корте, Ричмонд-парке, Виндзоре и где угодно ещё. Возможно, как раз под их влиянием развивается английский охранительный торизм. Думаю, это они помогают сохранить аристократические инстинкты, уважение к традиции, консерватизм, таможенные барьеры, гольф, палату лордов и прочие странные и старые обычаи. Я мог бы сделаться завзятым лейбористом, живи я на улице Железных Балконов или Серых Кирпичей; но, сидя под раскидистым дубом в Хэмптон-парке, я, к собственному беспокойству, ощутил желание признать ценность старины, высшее предназначение старых деревьев, гармоничность сложного переплетения традиций, а также некое почтение ко всему, в чём достаточно сил, чтобы пережить века.

Кажется, в Англии множество таких вековых деревьев; почти во всём, с чем здесь сталкиваешься, будь то в клубах, в литературе или в быту, чувствуется запах древесины и листвы столетних, достопочтенных и невероятно солидных деревьев. Здесь, собственно, и не увидишь нарочитой новизны; новое тут только метро, и, наверное, именно поэтому оно настолько некрасиво. Однако в старых деревьях и в старых вещах частенько поселяются разные шаловливые и проказливые духи; и такие вот эльфы и феечки живут и в самих англичанах. Они невероятно серьезные, солидные и достопочтенные; но ни с того ни с сего в них вдруг промелькнёт какая-то чертовщинка, и они выдают какую-нибудь невероятно смешную шутку подстать проказам волшебного народца, чтобы в следующий миг вновь сделаться солидными, как старое кожаное кресло; должно быть, они сделаны из старого дерева.

Даже и не знаю, почему, но как раз трезвомыслящая Англия кажется мне самой сказочной и романтической страной из всех, какие я только видел. Возможно, причиной тому как раз эти старые деревья. Или нет: наверное, всё дело в газонах. Всё дело в том, что здесь ходят не по дорожкам, а по траве. Все мы остальные осмеливаемся ходить только по дорогам и тропинкам; это, несомненно, сильно влияет на наше душевное состояние. Когда я в первый раз увидел джентельмена, бродившего по газону в Хэмптон-парке, он показался мне каким-то волшебным существом, несмотря на свой цилиндр; я был готов к тому, что сейчас он поскачет в Кингстон верхом на олене или пустится в пляс, или что придёт садовник и отругает его. Но ничего не случилось, так что, в конце концов, и я осмелел настолько, чтобы направиться напрямик по траве к тому раскидистому дубу, который в начале этого письма возвышается посреди прекрасной лужайки. И на этот раз не случилось ничего особенного; но в тот момент я ощутил такую ничем неограниченную свободу, как никогда прежде. Какое странное чувство: наверное, здесь человек не считается вредителем. Здесь не питают мрачных подозрений, что под его копытами трава не растёт. Здесь он вправе гулять по лужайкам, словно русалка или владелец поместья. Думаю, это сильно отражается на характере человека и его мировоззрении. Ведь перед ним открывается чудесная возможность сойти с проторенной дороги, не ощущая себя при этом вредителем, проказником или анархистом.

Обо всём этом я размышлял, сидя под дубом в Хэмптон-Парке, но через некоторое время даже от сидения на старых корнях затекают ноги. Так что я посылаю вам хотя бы рисунок, как выглядит этот английский парк. Мне хотелось бы нарисовать и оленя, но вынужден признаться, что по памяти его изобразить не могу.

Перевод Алёны Резвухиной, студентки 1-го курса магистратуры СПбГУ по направлению «Культурология» (Архетипы русской культуры), письменного переводчика с чешского и немецкого языков (angrest@mail.ru). Перевод занял третье место в номинации «чешская проза» (2017).

Карел Чапек. Письма из Англии. Английский парк

А самое прекрасное в Англии — это деревья. Конечно, есть еще английские лужайки и полицейские, но лучше всего — деревья. Старые, ветвистые, раскидистые, свободные, солидные, огромные деревья. В Хэмптон-корте, Ричмонд-парке, вокруг Винздорского замка — деревья повсюду. Должно быть, деревья и создали этот типично английский консерватизм. Они поддерживают аристократические чувства, ощущение истории, консервативность, приверженность к традициям, гольф, палату лордов и все такое прочее странное и старое. Я бы был страстным лейбористом, если бы жил на улице Железных Балконов или Серых Кирпичей — но здесь, сидя под английским дубом в Хэмптон-парке, я неожиданно почувствовал естественное стремление признавать ценность старых вещей, высокое предназначение

старых деревьев, гармоничное богатство традиций и все, что сохранилось и прошло сквозь века.

Пожалуй, в Англии много таких древних деревьев: почти во всем, что тут можно встретить — в клубах, в книгах, в домашних делах — есть что-то вроде древесины и листьев многовековых, важных, очень солидных деревьев. Ничего нового нет — разве что метро, но оно отвратительно. Зато в старых деревьях и вообще старинных вещах прячется лукавый дух экстравагантности и юмора: этот же дух обитает и в англичанах. Они ужасно важные, солидные, степенные — но вдруг в них вспыхивает что-то гротескное, уголек многовекового юмора, и вот они снова выглядят солидными, как старые кожаные кресла: может быть, их тоже сделали из старой древесины.

Не знаю, поэтому ли, но эта рассудительная Англия кажется самой сказочной и мечтательной из всех стран, которые я видел. Пожалуй, из-за старых деревьев. А может, и из-за газонов. В Англии ходят не по тропинкам, а по газонам. Мы привыкли ходить только по тропинкам и дорожкам: и это на самом деле очень влияет на нас. Когда я впервые увидел джентльмена, который шел прямо по газону в Хэмптон-парке, я подумал, что он из сказки, хотя и носит цилиндр, и что он сейчас поскачет верхом на олене в Кингстон, или начнет танцевать на лужайке, или, в конце концов, придет сторож и отругает его. Но ничего такого не произошло, и тогда я тоже решился пройти по траве к тому самому английскому дубу, под которым — на очень славной лужайке — я сижу с самого начала этого письма. Но и тогда ничего не произошло: и я до сей поры не чувствовал такой безграничной свободы. И очень важно: в Англии нет нашей печальной уверенности, что человек — что-то вроде вредного животного, которое непременно вытопчет своими копытами траву. Он может ходить по газону, как сказочная русалка или помещик в своих владениях. Я думаю, что это влияет на его мировоззрение: человек может ходить не только по дорожкам, не считая себя хулиганом, вредителем или анархистом.

Обо всем этом я думал, сидя под дубом в Хэмптон-парке, пока сидеть на корнях не стало слишком жестко. Прилагаю к письму рисунок. Это английский парк. Я хотел нарисовать оленя, но не помню, как он выглядит.

*Перевод Анны Гумеровой, ИМЛИ им. А.М. Горького РАН (gratia4@yandex.ru).
Перевод занял третье место в номинации «чешская проза» (2017).*

ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ

Jiří Wolker. Poštovní Schránka

Poštovní schránka na rohu ulice
To není nějaká lečjaká věc.
Kvete modře,
Lidé si jí váží velice,
Svěřují se jí docela,
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,

Йиржи Волкер. Почтовый ящик

Почтовый ящик на улице каждой,
То вам не абы какая вещь.
Как синий цветок он,
И люди важные
ему доверяют дар дорогой.
Письма бросают с двух сторон:

Z jedné smutná a z druhé veselá.

Psaníčka jsou bílá jako pel
A čekají na vlaky, lodě a člověka,
Aby jak čmelák a vítr je do dálek
rozesel
— tam, kde jsou srdce,
blizny červené.
schované v růžovém okvěti.

Když na ně psaní doletí,
Narostou na nich plody
Sladké nebo trpké.

Иржи Волькер. Почтовый ящик

Почтовый ящик за углом на улице,
это несколько не лишняя вещь.
Синего цвета,
им люди любят, любуются,
тайны свои доверяют порой.
Вести с обеих сторон принимаются:
грустные с этой, веселые с той.

Письма, как будто белея пылью,
ждут кораблей, поездов и гонца,
скоро чтоб с ветром умчаться
пчелою
вдаль, где рубцами —
цветочными рыльцами
в розовых чашах таятся сердца.

Когда прилетят к сердцам письма,
созреют в них плоды
сладкие или горькие.

*Перевод Алексея Колянова, переводчика,
выпускника кафедры славянской
филологии филологического
факультета СПбГУ
(kolianov@gmail.com). Перевод занял
первое место в номинации «чешская
поэзия» (2017).*

Грусть — с одной, радость —
с другой.

Конверты белые, словно пыльца,
Ждут поездов, кораблей, человека,
Чтобы лететь, как шмели и ветры,
Туда, где сердца,
Рыльца красные
В соцветьи розовом спрятаны.

А найдет письмо адресата, и,
Смотришь — плод вырос,
Сладкий иль терпкий.

*Перевод Веры Соломахиной,
преподавателя английского языка,
г. Воронеж (verasolomakhina@gmail.com).
Перевод занял второе место в номинации
«чешская поэзия» (2017).*

Йиржи Волькер. Почтовый ящик

Не просто вещь на уличном углу —
Почтовый синий ящик.
Народ к нему — с почтеньем,
Доверяя, бросает письма с двух
сторон,
С одной — веселые, с другой —
печальные.

Послания эти бёлы, как пыльца,
И ждут они корабль, поезд, человека,
Чтоб унесли их в дальние края,
Как шмель и вольный ветер
Туда, где множество сердец пылает
алых,
Как пестики внутри бутонов роз.

Когда до них те письма долетают,
То вырастают там плоды
И сладкий могут вкус иметь и
горький могут.
*Перевод Анастасии Дудкиной,
преподавателя СПбГУ
(anastasiadudkina@mail.ru). Перевод занял
первое место в номинации «чешская
поэзия» (2017).*

Иржи Волкер. Почтовый Ящик

Почтовый ящик на углу улицы,
Ставший больше, чем просто
предметом,
Васильковым цветом распустится,
Синим цветом.
От посланий отяжелеет,
Когда люди, ему доверившись,
Бросят весточки с обеих сторон,
С той — печальнее, с той —
веселее.

Писем белеют узоры,
Поездов ждут, людей и лодок,
Чтоб как шмель, с диким ветром в
просторы
Полететь, где червонное сердце
Распускается алым соцветьем.
Когда письма до них долетают,
Те соцветия прорастают
Плодом сладким или же горьким.

*Перевод Кристины Горячек,
г. Челябинск, Россия
(darkradionews@yandex.ru). К. Горячек —
журналист-новостник, работает на
радио, переводом занимается в качестве
любителя. Публикуется на сайтах
стихи.ру и проза.ру (стихи, сказки,
повести, рассказы). Перевод занял
третье место в номинации «чешская
поэзия» (2017).*

Почтовый ящик на углу улицы
Не просто какой-то пустяк,
Похожий на синий цветок,
Он уважаем, и люди стараются
Ему доверить, что на душе порой,
Бросая в ящик письма с двух
сторон —
Весёлые с одной, а грустные с
другой.

А письма словно облака пыльцы —
Дождутся поезда, парома, человека,
Как шмель и ветер — быстрокрылые
гонцы —
Летят туда, где сердце —
Будто красный пестик,
Что в самом центре у цветка сокрыт,
—
Когда письмо до адресата долетит,
Ответом будет плод на стебле том —
Сладкий или горький.

*Перевод Светланы Овчинниковой,
преподавателя технических дисциплин
Екатеринбургского колледжа
транспортного строительства
(sio990@el.ru). Переводит поэзию и прозу
с английского, испанского и чешского
языков. Перевод занял третье место в
номинации «чешская поэзия» (2017).*

КИТАЙСКАЯ ПРОЗА

冯骥才
《陈四送礼》

人世间最吃得开的是四大样：钱、权、爹、长相。有钱通神，有权比神明还顶用，有好爹就是有靠山，长得俊招得人见人爱。可是单这些还不行。有钱有权还得会使，有爹有长相还得会用，这里边有一样紧要的东西不能缺——好法儿。

比方送礼，给官送礼，虽说官不打送礼的，可你能端着一盘子金元宝打人家大门进去吗？送礼得有送礼的法儿。天津卫最会给官送礼的是陈四，他打官场得到的实惠也最多。书没读过几本，年纪轻轻已经做上邮政局的副局长。人说他每一步路都是拿礼铺出来的。陈四却说，官场从来路不平，有礼如履平地，没礼寸步难行。

陈四送礼的诀窍，是在人不知鬼不觉之间。礼要在暗处，送却送在“明处”，这个“明处”学问可大着呢，它得叫受礼的人心知肚明，外人在场也看不出来。这礼怎么送法？

一日，陈四有一位做珠宝买卖的朋友戈老板，要在法租界的和平饭店宴请直隶省贾省长，陈四没见过贾省长，打早就想给省长送点礼拉拉关系，这是机会，便磨着戈老板带他去，把自己引荐给省长。

戈老板说：“你可别当着我的面送大礼，人家省长是有身份的人，不会当众收礼的，你要是叫我没面子，就把我的事也坏了。”

陈四笑道：“你当我是雏儿？真送礼，连你也看不出来。”

吃饭那天，戈老板把陈四引荐给省长，人家省长和他一个小副局长差着十级八级，拿他只当见到的一条小狗。商场里谁有钱谁说话，官场里谁官大谁说话，根本轮不到陈四开口。陈四耐着性子等了好长时候才等出个空当，忽指着墙上一幅花鸟画说：“这画可不受看。”陈四早听说贾省长爱画，收藏的名人字画能装满一屋子。他想拿话勾起贾省长的兴致。

这一招果然生效。贾省长问：“怎么，你也懂画？”

陈四摇摇手中的筷子，“我不行，也不喜好，家父迷字画，老人家今年去世了，留下了一大堆字画，当初有钱置房子置地多好，结果一辈子把钱全扔在字画上了。如今这一大堆东西，不当吃不当穿，我看全是破烂，正忙着处理呢。”

贾省长一听，眉毛一扬，明显来了兴致，问道：“都是谁的画？”

陈四露出一副傻相，说：“我哪懂，人说名人就是名人呗，省长懂画？”

贾省长迟疑一下说：“一知半解，喜欢看就是了。你知道你家那些画都是哪些人画的吗？”

陈四说：“好像一个叫嘛‘石’的，画上边还有几行字儿。”

贾省长马上说：“齐白石？”

陈四说：“这齐白石我知道，不是那个画螃蟹大虾的吗，没嘛好，也不能吃。我家有几卷，全叫我送人了。这个不是齐白石，只是名字也有个‘石’字，嘛嘛石，想不起来了，画得黑糊糊，看都看不清楚，瞎抹呗。等收破烂的来了，给他！”

贾省长稍一寻思，眼一亮，“傅抱石？”

陈四琢磨琢磨，忽叫道：“对——

对！抱石，抱石，我还说画画这人名字真怪。抱着石头干吗。这人有名吗？”贾省长想一想，说：“还算有点名，画也可以。”

陈四接过话说：“黑糊糊一片还算可以？我反正不懂，省长想看，哪天我拿给您。今儿要不说起它来，说不定明天就卖破烂了。”他那神气像给丑闺女找到婆家，巴不得一下推给人家。

于是，大家一笑，接着吃饭，省长也就和陈四有说有笑了。

戈老板虽然在座，没太听明白这里边的故事。他是个肚子里没几滴墨水的人，回去找人一打听，才知道傅抱石非同小可，刚在南京办过大画展，惊动全城。细细寻思，这才明白陈四送礼的法儿之妙之高之绝。又过半年，戈老板听说陈四升了官，当上局长，不禁说：“陈四送礼——你知我知，神鬼不知。这个人还能当上更大的官。”

Фэн Цицай. Чэнь Сы преподносит подарки

В мире людей наибольшим успехом пользуются четыре вещи: деньги, власть, наличие богатого папеньки и красивая внешность. Есть деньги — пробьёшься к сильным мира сего, а властью наделён, так и помощь духов уже не понадобится. Богатый отец — надёжная опора, красив — влюбляться все с первого взгляда будут. Только вот недостаточно этого. Деньгами и властью нужно ещё уметь воспользоваться, положение отца и красивую внешность тоже нужно уметь применить. Существует одна важная штука, которой пренебрегать нельзя, правильный подход называется.

Вот, скажем, подношение даров: нужно уважить подарком чиновника, предположим, что и чиновник этот не имеет ничего против, но осмелитесь ли вы постучаться к нему в дверь с полным подносом золотых слитков в руках? При вручении подарков тоже нужно свои методы знать. Среди тяньцзиньцев мастером делать чиновникам подарки по праву можно считать Чэнь Сы, ведь от общения с чиновниками он больше всего выгоды получил. Он и не учился-то почти, а уже в юном возрасте стал заместителем начальника почтового отделения. Поговаривают, что каждый свой шаг он выстлал подношениями. На что Чэнь Сы отвечает, что дорога в чиновники гладкой никогда не бывает, делаешь подарки — пойдёшь по прямой, а без подарков и полшага не ступишь.

Секрет Чэнь Сы в подношении подарков таков: ни люди, ни духи об этом догадаться не должны. Сам подарок должен оставаться в тени, однако преподносить его нужно публично. Эта наука публичного дарения весьма не проста, ведь необходимо, чтобы лицо, принимающее подарок, осознавало, что к чему, а вот окружающие ни о чём догадаться не должны. И что же это за способ такой подарки преподносить?

У Чэнь Сы был друг — начальник Гэ, занимался он продажей ювелирной продукции. Как-то раз довелось ему пригласить на обед в ресторан «Хэпин», что находился на территории французской концессии, губернатора Цзя, управлявшего провинцией Чжили². Чэнь Сы с губернатором Цзя встречаться не приходилось, но он уже давно подумывал о том, чтобы преподнести губернатору подарочек, так скажем, наладить отношения. Вот и подвернулся подходящий случай. Чэнь Сы упросил начальника Гэ взять его с собой, чтобы представиться губернатору.

Начальник Гэ предостерёг:

— Неужто ты задумал при мне одарить его подношениями? Такой человек, как губернатор, — лицо статусное, на глазах у других подарка принимать не станет, ещё и меня в неловкое положение поставишь, дела мои под откос пойдут.

Чэнь Сы усмехнулся:

— Ты меня совсем за желторотика принимаешь? Если я действительно соберусь сделать подарок, то даже ты этого не заметишь.

² В 1928 г. была переименована в провинцию Хэбэй (прим. переводчика).

В день званого обеда начальник Гэ представил Чэнь Сы губернатору. Разница между губернатором и Чэнь Сы, молодым заместителем начальника почты, была рангов в восемь — десять, Чэнь Сы был для него лишь маленькой собачонкой. На рынке — у кого деньги, тот и слово молвит, среди чиновников — чей ранг выше, у того и право голоса, потому до Чэнь Сы бы очередь не дошла даже рта раскрыть. Он, вооружившись терпением, прождал продолжительное время, пока не выдался удобный момент, и он, небрежно указав на стене на гравюру в стиле хуаняо, заметил:

— Неужели эта картина может радовать глаз?!

Чэнь Сы ещё давно слышал, что губернатор Цзя увлекается живописью, а полотнами каллиграфии и живописи знаменитых художников из его коллекции можно завесить весь дом. Своим замечанием Чэнь Сы рассчитывал пробудить интерес губернатора.

Эта приманка и правда сработала. Губернатор Цзя поинтересовался:

— Неужели тоже в живописи разбираетесь?

Чэнь Сы покачал палочками в руках:

— Я не разбираюсь, да и не увлекаюсь, а вот отец был большим ценителем каллиграфии и живописи, после его смерти в этом году осталась громадная куча полотен. Когда-то у него были деньги, чтобы построить дом, хороший дом, а в итоге он всю жизнь все деньги спускал на картины. А теперь эту грудку ни съесть, ни надеть. Как по мне, то всё это рухлядь, сейчас я как раз занят тем, как бы её пристроить.

Губернатор Цзя как услышал, так и приподнял бровь, ясное дело — заинтересовался, потому спросил:

— Чьи же это полотна?

Чэнь Сы, приняв глуповатый вид, ответил:

— Откуда ж мне знать? Говорят, что кого-то из великих, значит, из великих. А Вы разбираетесь в живописи?

Губернатор Цзя, помедлив, ответил:

— Смыслю я немного, нравится смотреть, да и только. Вы не знаете, чьей кисти принадлежат те картины в вашем доме?

Чэнь Сы сказал:

— Кажется, одного зовут каким-то «Ши», там на картине ещё несколько иероглифов.

Губернатор Цзя сразу же встрепенулся:

— Ци Байши?

Чэнь Сы возразил:

— Ци Байши-то я знаю, не его ли это картина с крабами и большими креветками? И что в ней такого, ею сыт не будешь. У нас дома было несколько свитков, я всё раздарил другим. Это не Ци Байши, просто в имени тоже есть иероглиф «ши», что-то, что-то и «ши», не могу вспомнить. Нарисовано мутно-мутно, ничего не разобрать, бестолковая мазня какая-то. Вот дождусь того, кто всякий хлам принимает, и отдам ему!

Губернатор Цзя несколько призадумался, в глазах сверкнул огонёк:

— Фу Баоши?

Чэнь Сы подумал, подумал и вдруг воскликнул:

— Точно! Точно! Баоши, Баоши! Я ведь сказал, что имя этого художника очень странное. Что за «несущий камень»... Это известный художник?

Губернатор Цзя, подумав, ответил:

— Можно считать, что немного известен, его картины тоже неплохи.

Чэнь Сы продолжил свои размышления:

— Мутная-премутная картинка считается неплохой? Я и в самом деле не понимаю. Если Вы желаете взглянуть, то я в любой день могу Вам её принести. Если бы сегодня о ней не упомянули, то завтра, возможно, я бы уже продал эту рухлядь.

Чэнь Сы загордился, будто уродливую девушку замуж пристроил, хорошо бы одним махом спихнуть ему сразу всё.

Тогда все заулыбались, снова принялись за еду, и с Чэнь Сы теперь губернатор начал общаться и шутить.

Начальник Гэ хоть и присутствовал на обеде, но не до конца смог разобраться в произошедшем. Он был человеком несведущим, только по возвращении домой, поинтересовавшись у других, он узнал, что Фу Баоши вовсе не заурядный художник, а в Нанкине как раз проводится громадная выставка его работ, которая поразила весь город. Только тщательно пораздумав, он понял, насколько метод Чэнь Сы по подношению подарков искусен, благороден и несравненен. Ещё через полгода начальник Гэ узнал, что Чэнь Сы продвинулся по службе — стал начальником почтового отделения, и невольно заметил:

— Когда Чэнь Сы преподносит подарки, об этом ты знаешь, и я знаю, а духи и не догадываются. Он ещё и более высоких чинов добьётся.

Перевод Евгении Якуб, студентки 4 курса специальности «Востоковедение и африканистика» Новосибирского государственного университета (ea-yakub@yandex.ru). Перевод занял первое место в номинации «китайская проза» (2017)

Фэн Цицай. Как Чэнь Сы дарит подарки

Люди более всего ценят деньги, власть, отца и внешность. С деньгами обретёшь силу, а с властью будешь и того могущественнее, славный отец станет крепкой опорой, а красота откроет дорогу к людской любви. Вот только одного этого недостаточно. Деньгам и власти нужно ещё суметь найти применение, красивую внешность и отцово плечо нужно ухитриться пустить в ход, а потому без верного средства здесь не обойтись.

Взять хотя бы подношения чиновникам. За подарки, конечно, бит не будешь, но и с подносом золотых монет через парадный вход в дом не войдёшь. В таком деле нужен проверенный метод. Лучше всех в Тяньцзине подарки чиновникам дарил Чэнь Сы, и пользы от чиновников он тоже получал больше всех. Он, за всю свою жизнь прочитавший полторы книги, ещё в молодости дослужился до заместителя начальника почты. Поговаривали, что каждый свой шаг этот малый выкладывает подарками. Сам же Чэнь Сы утверждал, что дорога чиновника всегда переменчива — перед дарами ковром расстилается, а без подношений ни на шаг не продвинешься.

Свой секрет Чэнь Сы берёт пуще зеницы ока. Сам подарок прятал, а только на словах преподносил открыто. Вот только наука дарить «открыто» куда как мудрёна, ведь нужно, чтобы сам одариваемый ясно понимал, к чему дело клонится, а больше никто и не приметил. Так в чём же кроется хитрость?

Однажды приятель Чэнь Сы, торговец драгоценностями Гэ, собрался пригласить губернатора Чжили³ по фамилии Цзя на банкет в гостиницу «Мир», что располагалась во французском квартале. Чэнь Сы, тогда ещё не знакомый с губернатором Цзя, давно помышлял о том, как бы, преподнеся ему подарок, обзавестись полезной связью. Усмотрев свой шанс, Чэнь Сы выпросил у торговца Гэ, чтобы тот взял его с собой и представил губернатору.

Тогда Гэ сказал:

— Только не смей при мне дарить дорогие подарки, ведь губернатор занимает высокое положение и не может у всех на глазах принимать подношения. Если ты меня опозоришь, то всё моё дело загубишь.

Чэнь Сы со смехом ответил:

— Что я, по-твоему, совсем желторотый? Я подарю так, что даже ты этого не заметишь.

В день банкета торговец Гэ представил Чэнь Сы губернатору, но тому с его положением до какого-то мелкого почтового служителя дела было не больше, чем до собачонки. На рынке слово за тем, у кого деньги, а на государственной службе говорит тот, кто выше сидит, а значит до Чэнь Сы очередь бы так и не дошла. Он терпеливо дождался возможности и вклинился в беседу:

— Эта картина совершенно не радует глаз, — небрежно указал на живопись, которая висела на стене.

Чэнь Сы загодя разузнал, что губернатор Цзя — большой любитель живописи, а картинами именитых художников из его коллекции можно заполнить целую комнату. Своими словами Чэнь Сы хотел заинтриговать господина Цзя.

И это сработало. Губернатор спросил:

— Вот как? Вам тоже не чужда живопись?

Чэнь Сы помахал палочками в воздухе:

— Ну что вы! Мне это совсем не близко. Вот мой отец — так тот был на ней помешан. Но в этом году старик скончался, оставив после себя целую грудку картин. Всю жизнь он спускал на них деньги, а лучше бы купил дом или какое другое имущество. Этим барахлом сыт-одет не будешь, и вот теперь я ищу куда бы его пристроить.

Услышав такое, губернатор вскинул брови и заметно воодушевился:

— А кто художник?

Чэнь Сы прикинулся простофилей:

— Ну откуда же мне знать. Говорят, кто-то известный. Пусть так. Господин губернатор сведущ в картинах?

Губернатор Цзя помедлил:

³ Прежнее название провинции Хэбэй (прим. переводчика).

— Постольку-поскольку. Люблю их рассматривать, но не более того. Так вы знаете, кто нарисовал все эти ваши полотна?

Чэнь Сы сказал:

— Кажется, одного зовут «ши» как-то там, а рядом приписана пара строчек. Губернатор Цзя выпалил:

— Ци Байши?

Чэнь Сы ответил:

— Этого Ци Байши я знаю. Это не те картины с крабами и креветками⁴? И смотреть не на что, и съесть нельзя. Было у меня несколько таких картин, так я их все раздарил. Но тот не Ци Байши, а просто у него в имени тоже есть «ши»... что-то там «ши»... а дальше не могу припомнить, и на самом рисунке ничего не разобрать — всё чёрным бестолково размазано да перечёркнуто. Вот появится старьёвщик — ему и отдам.

Губернатор Цзя ещё немного поразмыслил, и его глаза загорелись:

— Фу Баоши?

Чэнь Сы, изобразив раздумье, воскликнул:

— Точно! Баоши! Баоши! Я же сказал, что у него странное имя. Камень он что ли держит⁵? Он знаменит?

Губернатор Цзя подумал:

— Можно и так сказать. Рисует неплохо. Чэнь Сы продолжал:

— Размазал тушь и уже неплохо рисует? Впрочем, не мне об этом судить. Так что если губернатор пожелает взглянуть, то я в любое время к вашим услугам.

Не заговори мы об этом сегодня, кто знает, завтра бы уже продал картину старьёвщику.

Теперь он сидел с таким видом, точно сговорился выдать замуж уродливую дочь и ему не терпелось поскорее её спровадить.

Все заулыбались, и обед пошёл своим чередом, губернатор же увлёкся весёлой беседой с Чэнь Сы.

Хоть торговец Гэ и присутствовал на обеде, но дальше собственного носа не увидел. Знаниями он не блистал, и уже после кто-то сказал ему, что Фу Баоши — большая знаменитость, а совсем недавно в Нанкине прошла крупная выставка его картин, потрясая весь город. Пораскинув умом, он понял всю прелесть, непревзойдённость и совершенство способа Чэнь Сы. А ещё через полгода, когда пошли слухи, что Чэнь Сы повысили в чине до начальника управления, торговец Гэ невольно воскликнул:

— Чэнь Сы так одарит, что кроме нас с тобой, сам чёрт не прознает. Этот парень далеко пойдёт.

Перевод Ирины Зоновой (zonova.irina@gmail.com), занял второе место в номинации «китайская проза» (2017)

⁴ Ци Байши — признанный мастер изображения креветок (прим. переводчика).

⁵ «Баоши» дословно означает «держат камень» (прим. переводчика).

Фэн Цзицай. Чэнь Сы дарит подарок

В людском мире превыше всего ценятся четыре блага: деньги, власть, отец и внешность. Есть деньги — и до богов достучишься, есть власть — так и боги не нужны, есть заботливый отец — обеспечит надежный тыл, а если с внешностью повезло — то, кто ни посмотрит на тебя, всякому ты люб. Однако, самих по себе этих благ недостаточно. Деньгами да властью надо еще правильно распорядиться, заботу отца и привлекательную внешность надо уметь использовать. Тут никак не обойтись без умелого применения.

Допустим, надо чиновнику подарок сделать. А он подарков не принимает. Не пойдёшь же ты к нему напролом в кабинет с золотыми монетами на подносе? Тут ещё надобно подумать — с какой стороны к нему подступить. В старом Тяньцзине ловчее всех делать подношения чиновникам умел Чэнь Сы, он же больше всех получал с этого прибыль. За свою жизнь и нескольких книжек не прочел, а совсем еще молодым был назначен заместителем начальника почтового управления. Люди про него говорили, что он ни шагу без подношения не делал. Сам Чэнь Сы говаривал, что дорога в чиновники ухабистая, если под каждый шаг подарок не подложишь, так и застрянешь.

1. деле подношений Чэнь Сы был мастер. Он так ловко все обстряпывал, что сам черт не заметил бы, как уже с подарком сидит. Но сам подарок оставался в тени, а факт дарения, напротив, был очевидным. Эта наука «очевидного» и была мудреной. Как же так незаметно подарить, чтобы только тот, кому предназначен подарок нутром почуял, что к чему, а окружающим было бы невдомек?

У Чэнь Сы был старый приятель Гэ, владелец ювелирного магазина. Как-то раз посчастливилось старине Гэ пригласить на обед в роскошный ресторан Французской концессии губернатора провинции Чжили, господина Цзя. Чэнь Сы не был знаком с губернатором и давным-давно искал случая засвидетельствовать ему своё почтение. Он и упросил своего друга взять его на обед, чтобы представиться губернатору Цзя.

Старина Гэ предупредил:

— Ты только не вздумай что-нибудь дарить ему в моем присутствии! Наш гость — человек с высоким положением, не подобает на людях к нему с подарками лезть. Если ты меня подведёшь, то, считай, всей моей торговле конец!

Чэнь Сы со смехом ему ответил:

— Ты меня за желторотого птенца держишь? Если уж дойдёт до подарка, ты даже и не заметишь.

На званный обед господин Цзя пришёл в сопровождении одного из своих помощников, чиновника мелкого ранга. Старина Гэ представил Чэнь Сы, которого едва удостоили взглядом, будто собачонку. В деловом мире у кого деньги, тот и музыку заказывает. В чиновничьем мире, кому ранг позволяет, тот и в разговоре участвует. Чэнь Сы не полагалось даже и рта открывать. Он молчал и терпеливо дожидался, пока в разговоре не возникнет

пауза. В этой тишине он вдруг сказал: "Какая же картина некрасивая!", и показал на висевшую в зале картину с цветами и птицами. Он давно слышал, что губернатор Цзя любит живопись, и что его коллекция свитков с картинами известных художников занимает целую комнату. Своим замечанием Чэнь Сы надеялся задеть за живое губернатора Цзя.

Приёмчик действительно сработал. Губернатор Цзя недоуменно взглянул на него:

— А ты что же, в картинах разбираешься?

Чэнь Сы смущенно повертел палочки в руке и сказал:

— Я — нет, да и не очень-то они мне нравятся, а вот отец мой был любитель живописи. Старик в этом году умер, оставил после себя огромную кипу свитков. Хорошо хоть сперва наш отец землю купил и дом построил. А то потом всю жизнь он деньги на картины спускал. Смотрю я на эту кучу свитков — ни съесть их, ни надеть — хлам хламом! Что с ними делать — ума не приложу.

При этих словах у губернатора Цзя дрогнули ресницы — верный знак, что зацепило-таки его за живое. Он дальше и спрашивает:

— А кем написаны картины?

На лице у Чэнь Сы мелькнуло глуповатое выражение:

— Да я не помню. Отец все говорил, «знаменитый художник, знаменитый художник». А Вы интересуетесь живописью?

Губернатор Цзя, несколько поколебавшись, промолвил:

— Да так, немного. Люблю на картины посмотреть. Так ты не знаешь, что за картины у тебя дома лежат? Кто художник?

— Кажется, имя у него на -ши заканчивается. В надписи на картине впереди ещё несколько иероглифов идут.

Губернатор Цзя тут же встрепнулся:

— Ци Байши?

— Ну, Ци Байши-то я знаю. Это который всяких креветок и крабов рисовал. Что в них хорошего? Ни на зуб положить, ни глаз порадовать. У нас было несколько его картин, так я их раздал. А этот Ши, не Ци-Бай-Ши, а как-то-как-то-Ши, сейчас не вспомню. Картины у него темные-претемные, что нарисовано — не разберешь, просто тушь размазал и все. Вот придёт старьёвщик, все ему отдам!

Губернатор Цзя задумался. И тут его глаза загорелись:

— Фу Баоши?

Тут уже Чэнь Сы задумался, как будто припоминая что-то, а потом как вскрикнет:

— Точно! Точно Баоши! Баоши и есть! Я ещё говорил, что у этих художников имена все одинаковые — Байши, Баоши — поди разбери, кто есть кто. А он, что, известный?

Губернатор Цзя, помедлив, сказал:

— Да так, вроде известный, и картины вроде ничего.

Чэнь Сы все не унимался:

— Черным-черно намалевал — и ничего? Я в этом вообще не понимаю. Если губернатору Цзя захочется взглянуть, только скажите — я в любое время их Вам принесу. Если бы сегодня разговор про них не зашёл, так я бы грешным делом уже завтра старьевщику все сплавил.

У Чэнь Сы при этом был такой счастливый вид, как будто он нашёл жениха для своей неказистой дочери, и ему не терпелось отдать ее замуж.

Обед шёл своим чередом, все ели-пили, смеялись. Губернатор Цзя то и дело обращался к Чэнь Сы с улыбкой да с шуткой.

Старина Гэ хоть и сидел на том обеде, да так и не понял, что произошло. Он сам-то был человек не очень образованный, а уж в искусстве совсем ничего не смыслил. Потом спросил у знающих людей про Фу Баоши. Оказалось, что это крупный художник, недавно выставлялся в Нанкине и весь город восхищался его картинами. Лишь поразмыслив обстоятельно, старина Гэ наконец-то понял как тонко, как искусно, как ловко Чэнь Сы преподнёс свой подарок. Прошло полгода, и до него дошли вести, что Чэнь Сы поднялся в чине, стал начальником почты. Старина Гэ не смог не признать:

— Ай да Чэнь Сы! Подарит так, что даже святые духи не прознают. Далеко пойдёт, большим чиновником станет!

Перевод Дианы Доржиевой (dordzhieva@gmail.com), занял третье место в номинации «китайская проза» (2017)

КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

杜牧 山行

遠上寒山石徑斜，
白雲生處有人家，

停車坐愛楓林晚，
霜葉紅於二月花。

穆旦诗八首 (节选) —

你底眼睛看见这一场火灾，
你看不见我，虽然我为你点燃，
哎，那烧着的不过是成熟的年代，
你底，我底。我们相隔如重山！

Ду Му. Прогулка в горах

В горы тропинка меня поведет,
Резво к вершинам взбираясь.
Думал, никто уж давно не живет
В том белом, облачном крае.

Заката лучи над деревьями тлеют.
Я спрыгну с повозки, у клёна замру.
Как кровь кленовые листья алеют
В февральском хрустальном снегу.
*Перевод Дарьи Комиссаровой
(d.komisarova@yandex.ru)*

Му Дан. Восьмистишие
(отрывки) —

1

Воспламенён тобой, сгораю!
Но чуткостью своей слепа
Не видишь ты, как тихо тают
В горниле времени года.

Естественной метаморфозой дней,

从这自然底蜕变程序里，
我却爱了一个暂时的你。
即使我哭泣，变灰，变灰又新生，
姑娘，那只是上帝玩弄他自己。

四

静静地，我们拥抱着
用言语所能照明的世界里，
而那未形成的黑暗是可怕的，
那可能的和不可能的使我们沉迷。

那窒息我们的
是甜蜜的未生即死的言语，
它底幽灵笼罩，使我们游离，
游进混乱的爱底自由和美丽。

八

再没有更近的接近，
所有的偶然在我们间定型；
只有阳光透过缤纷的枝叶
分在两片情愿的心上，相同

等季候一到就要各自飘落，
而赐生我们的巨树永青，
它对我们不仁的嘲弄
(和哭泣)在合一的老根里化为平静。

Я словно узами пленён,
Непостоянною тобой
Я как и прежде опьянён.
Я плакал, рассыпаясь в прах,
Как феникс восставал в огне,
Но неизбежно мы падём
В богов причудливой игре.

4

Безмолвно обниму тебя,
И мир лишь слов заполнит свет.
Во тьме пугающей не разобрать,
Что сбудется, а что — уж нет.

Мы задыхаемся в словах,
Что сладостью своей манят,
Не зная, что они мертвы
Лишь только с наших губ слетят.
Расходимся в прозрачной мгле.
И словно в море корабли,
Наполнив волей паруса,
Плывём мы в хаосе любви.

8

И уж не сблизиться нам вновь —
Судьбы расчерчены пути.
Как свету в россыпи листвы
Назад дороги не найти.

Вот час положенный пробьёт —
Деревья облетят листвою,
Одно лишь вечно зелено:
Дарованное нам судьбой.
Стоит оно средь голых древ,
Насмешливо кичась собой,
Смеётся звонко и в корнях
Сплетённых обретёт покой.

*Перевод Дарьи Комиссаровой, старшего
научного сотрудника Института
медико-биологических проблем РАН
(d.komisarova@yandex.ru,
komissarova@imbp.ru). Перевод занял
третье место в номинации «китайская
поэзия» (2017).*

Му Дань. 8 стихотворений (выдержки)

1.

В твоих глазах пожар бушует,
В огне том пламенею я,
Ах, посмотри, как догорает
В костре наша с тобой душа.
Былые годы, наши годы:
Твои, мои... И в этот час
Разлука как в низине горы
Возникла на пути у нас.
И в нескончаемом процессе
Перерождения бытия
Я полюбил одну на свете,
Я полюбил одну тебя.
Я тихо плачу, возгораюсь,
Горю дотла и вновь встаю.
Вселенная со мной играет
В эту порочную игру.

4

В твоих объятиях спокойно.
Слова наполнят мир теплом.
Но страх возник непроизвольно,
Из темноты проник тайком.
И то, что было бы возможно
Иль невозможно проверить,
Нас заставляет поневоле
В этом безумии тонуть.
И задыхаясь, умирают,
В душе наши слова любви,
Но души их не погибают,
Витают в воздухе они.
И с ними мы, освободившись,
Вливаемся в поток любви.
Реки теченью подчинившись,
В свободе утопаем мы.

8

Промелькнул между нами луч,
Осветил половинки души,
Между нами не может быть туч,
Стали мы в одночасье близки.
Неделимы как древа листва,
Что на солнце купается днем,
Только время подходит когда,
Все листочки летят под дождем.
Древу этому послан был дар:

Быть зеленым и вечно расти —
Это словно насмешки удар.
Получили его я и ты.
Нам с тобою обещан покой,
Как и дереву, что корни свои
Глубоко пропустил под землей,
Где нашли свой покой я и ты.

Перевод Ольги Садовниковой, аспиранта ИГУ (направление подготовки «Языкознание и литературоведение», направленность «Теория языка»). Работает старшим преподавателем кафедры востоковедения и регионоведения АТР в ФГБОУ ВО «ИГУ» (superstishion@mail.ru). Перевод занял третье место в номинации «китайская поэзия» (2017)

Поэтический цикл Ши ба шоу Му Дань

— —

你底眼睛看见这一场火灾，
你看不见我，虽然我为你点燃，
哎，那烧着的不过是成熟的年代，
你底，我底。我们相隔如重山！
从这自然底蜕变程序里，
我却爱了一个暂时的你。
即使我哭泣，变灰，变灰又新生，
姑娘，那只是上帝玩弄他自己。

Стихотворение первое

В твоих глазах застыло пламя — безмолвье ярого огня —
То для тебя горю пожаром. Но в нем не видишь ты меня.
Увы, но зарево — к закату поры твоей — моей поры,
И словно две горы — громады с тобою мы разделены!
Настал черёд перерождений, и этот путь неотвратим,
Тебя в объятьях изменений я лишь сильнее полюбил.
Пусть тихо плачу, став золою, из пепла снова возрожусь,
Что для небес игра судьбою, для нас, родная, жизни грусть.

— —

水水流山石间沉淀下你我
而而我们成长，在死底子宫里。
在无数的可能里一个变形的生命
永远不能完成他自己。
我和你谈话，相信你，爱你，
这时候就听见我底主暗笑，
不断地他添来另外的你我

使我们丰富而且危险。

Стихотворение второе

Между водных потоков и горных камней ты и я как песчинки осели.
Мы взрослеем, бежим всё быстрее и быстрее... в лоно матери — смерти на деле.
И в бесчисленном множестве разных дорог, как бы жизнь в виражах не менялась,
Не вольна выбирать свой финальный аккорд и с судьбой никогда б не сравнилась.
Я с тобой говорю, тебе верю, люблю, но считаешь ты это игрой.
Наша мать неизбежностью — властной рукой — порождает нас новых с тобой.
Мы взрослеем, бежим всё быстрее и быстрее, и в счастливом забвенье витая,
Наполняемся жизнью и чувством сильнее, и в неведенье ходим по краю.

三

你底年龄里的小小野兽，
它和春草一样地呼吸，
它带来你底颜色，芳香，丰满，
它要你疯狂在温暖的黑暗里。
我越过你大理石的理智殿堂，
而而为它埋藏的生命珍惜；
你我底手底接触是一片草场，
那里有它底的固执，我底惊喜。

Стихотворение третье

Вот кроха — зверёк, он мал, как и ты.
Груди его вздох, что весенней травы,
Он пахнет тобою, он полон тебя,
Он взял себе краски твои и цвета,
И в нежной и теплой таинственной мгле,
Свести он с ума тебя хочет во тьме.
И я проникаю в Храм Мудрости твой,
В нём этот зверек обретает покой;
Рук наших сплетенье, что луг во цвету,
И встретятся там, где его я найду,
Моё изумленье с упорством зверька,
Любви непокорность и воля моя.

四

静静地，我们拥抱着

用用言语所能照明的世界里，
而而那未形成的黑暗是可怕的，
那可能的和不可能的使我们沉迷。

那窒息我们的
是甜蜜的未生即死的言语，
它底幽灵笼罩，使我们游离，
游进混乱的爱底自由和美丽。

Стихотворение четвертое

Мы безмолвно замерли в объятьях
В мире, залитом сияньем слов,
Темнота лишь нагоняет страхи,
Расстелив бесформенный покров.
Сила та, что властна и не властна
Погрузить нас в заблуждений мрак,
Та, что душит сладостно и страстно
Мертворожденною речью на устах,
Нас туманом призраков укрыла,
Что освободили от оков,
Мир любви перипетий открыли
И её прекрасных, вольных снов.

五

夕 夕阳西下，一阵微风吹拂着田野，
是多么久的原因在这里积累。
那移动了景物的移动我底心
从最古老的开端流向你，安睡。
那形成了树林和屹立的岩石的，
将使我此时的渴望永存，
——一切在它底过程中流露的美
教我爱你的方法，教我变更。

Стихотворение пятое

На закате солнца ветер чуть касается полей,
Как же давние причины здесь раскрылись нам полней.
Все движения пейзажей отзываются во мне,
От времен былых начала безмятежным сном к тебе.
Что незыблемые скалы и могучие леса
Воздвигает, возвышает, возводя под небеса,
Мимолетные желанья и стремления мои
Превращает, воплощает в силы вечные Земли.

В этом таинстве создания вся краса, что видел я,
Мне дала постичь метанья, путь, что вёл любить тебя.

六

相同和相同溶为怠倦，
在差别间又凝固着陌生；
是一条多么危险的窄路里，
我制造自己在那上面旅行。
他存在，听从我的指使，
他保护，而把我留在孤独里，
他底痛苦是不断的寻求
你底秩序，求得了又必须背离。

Стихотворение шестое

Тождество тождеств рождает скуку,
Отчужденность в сплав различий вкраплена;
На опасном том пути, с тобой за руку,
Создаю свое совсем иное «я».
Этот странник
весь моей исполнен воли,
Он живет, он существует — часть меня.
Он спасает, бережёт, от бед отводит,
Но и с ним — один бываю я.
Ему мукой вечный поиск служит:
Он — скиталец, странствия — судьба.
Он и Раб у слов твоих — жемчужин.
Он и Господин. Свободен я.

七

风暴，远路，寂寞的夜晚，
丢失，记忆，永续的时间，
所有科学不能祛除的恐惧
让我在你底怀里得到安憩—
呵，在你底不能自主的心上，
你底随有随无的美丽的形象，
那里，我看见你孤独的爱情
笔立着，和我底平行着生长！

Стихотворение седьмое

Буря, дальняя дорога, одиночество ночей,

Пустота, воспоминанья, времени поток быстрей.
Всех науке неподвластных страхов внутренних моих
Дай найти успокоенье мне в объятиях твоих.
В этом сердце, вольной птицей бьющемся в родной груди,
Красоты, что первозданна, ты себе взяла черты.
Там, в садах моих раздумий, я любовь твою нашел,
Прислонился нежно, робко, и покой души обрёл.
И двум душам неделимый даровала путь судьба,
Но любовь там расцветает одинокая твоя.

八八

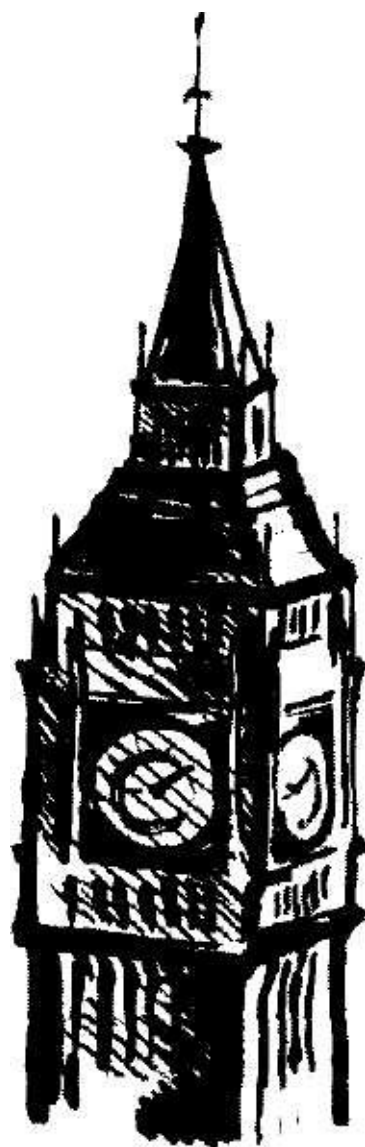
再也没有更近的接近，
所有的偶然在我们间定型；
只有阳光透过缤纷的枝叶
分在两片情愿的心上，相同。
等季候一到就要各自飘落，
而而赐生我们的巨树永青，
它对我们不仁的嘲弄
(和哭泣) 在合一的老根里化为平静。

Стихотворение восьмое

Мы никогда не будем снова близкими,
И все случайности для нас — предрешены.
Лишь солнца свет, как в витражах, играя с листьями,
В сердца влюбленных проникает с высоты.
Но час пробьёт, и каждый в одиночестве
В полёте все же спустится к земле.
Дарует нам великое пророчество
Лишь к вечной юности сердец звать в мечте.
Но как порой жестоко и насмешливо
Над нами время. Властная судьба...
(С тихим плачем): Едины в сути бед, мы безутешные,
В ответ нам — лишь немая тишина.

Перевод Екатерины Панченко, студентки 4 курса Восточного института — Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, г. Владивосток), направление обучения: Языки и литературы стран Азии и Африки (Китай); выпуск: 2019 г. (katrinka1043@mail.ru). Перевод занял первое место в номинации «китайская поэзия» (2017)

ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО



William Shakespeare. Sonnet 130
My mistress' eyes are nothing like the sun

My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red, than her lips red,
If snow be white, why then her breasts are dun:
If hairs be wires, black wires grow on her head:
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks,
And in some perfumes is there more delight,
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know,
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet by heaven I think my love as rare,
As any she belied with false compare.

У. Шекспир. Сонет 130

В глазах любимой солнце не искрится,
Уста её стократ бледней коралла,
Со снегом белым кожа не сравнится
И черной лентой прядь со лба упала.

Знавал я красоту дамасской розы:
Щеке её чужды цветов касанья.
Мне дух милей любого медоноса,
Чем веянье знакомого дыханья.

Влюблен в слова её, хоть понимаю,
Что мне приятней звук любых мелодий.
Чужда ей поступь божества святая:
Любовь моя не шествует, а ходит.

Но я клянусь: она прекрасна так же,
Как пленницы высокопарной фальши.

*Перевод Анастасии Бляшкиной, студентки I курса ОУ «Магистр»
филологического факультета специальности «Фундаментальная и прикладная
лингвистика» (greenkab2011@yandex.ua)*

George Gordon Byron. I Saw Thee Weep

I saw thee weep – the big bright tear
Came o'er that eye of blue;
And then methought it did appear
A violet dropping dew:
I saw thee smile – the sapphire's blaze
Beside thee ceased to shine;
It could not match the living rays
That filled that glance of thine.
As clouds from yonder sun receive
A deep and mellow dye,
Which scarce the shade of coming eve
Can banish from the sky,
Those smiles unto the moodiest mind
Their own pure joy impart;
Their sunshine leaves a glow behind
That lightens o'er the heart.

Дж.Г. Байрон. Ты плачешь...

Ты плачешь — вижу, что слеза
В озерах глаз твоих.
С фиалок вешняя роса
Упала в тот же миг.
Смеешься ты — сапфира блеск
Огнем был заглушен,
И пламени волшебный всплеск
Улыбкой разожжен.
Как скудной тьме стереть нельзя
Цвет легких облаков,
Когда вечерняя заря
Вновь сбросит груз оков,
Так свет улыбки в грустный час
Дарует радость вновь.
Пусть гаснет луч надежд подчас —
В душе горит любовь.

*Перевод Натальи Черноволовой, студентки 1 курса ОКР «Магистр»
специальности «Прикладная лингвистика» (natalya.chernovolova@yandex.ua)*

Mervyn Peake.
The King of Ranga-Tanga-Roon

The King of Ranga-Tanga-Roon
Ate catfish with a golden spoon

And growled beneath the steaming sun
Until his wife was ninety-one

The bright blue waters danced about
His island till the fish came out

And sang 'O Ranga-Tanga-Roo
Your wife will soon be ninety-two!'

Mervyn Peake.
O Love, O Death, O Ecstasy

I
O love, o death, o ecstasy
Beneath the moon's marmoreal snout!
O rhubarb burning by the sea
Through nights of nought and days of
doubt
Ah pity me, ah pity me,
What is it all about?
What is it all about?

II
A voice across the coughing brine
Has sewn your spirit into mine!
O love it is for me to die
Upon your bosom noisily,
Ah pity me, ah pity me,
What is it all about?
What is it all about?

Mervyn Peake.
Again! Again! and Yet Again

Again! Again! and yet again
I find my skull's too small
For all the jokes that throng my Brain
And have no point at all!

Мервин Пик
Король Ранга-Танга-Ра

Правитель Ранга-Танга-Ра
Съел ложкой золотой сома

И зароптал под солнцем в небосвод.
Жене тогда шел девяносто первый год.

Плясали воды и в лазурной дали
У берегов песчаных рыбы выползали

Одна пропела: «О, Ранга-Танга-Ра,
Жене твоей уж скоро девяносто два!»

Перевод Анны Мусиной
(kristianrake@gmail.com)

Мервин Пик.
О Любовь, О Смерть, О Экстаз

I
О любовь, о смерть, о экстаз
Под мраморным рылом луны!
О, корень ревня, что в воде не погас
Сквозь ночи пустые и дни суеты.
Ах, бедный я, ах, бедный я.
О чем же речь моя?
О чем же речь моя?

II
И голос хриплый через моря соль
Пришил свой дух, захваченный тобой.
Любовь, мне умереть позволь
Под шум в груди, внутри тебя.
Ах, бедный я, ах, бедный я.
О чем же речь моя?
О чем же речь моя?

Перевод Анны Мусиной

Мервин Пик.
Опять! Опять! И вот опять

Опять! Опять! И вот опять
Мой череп слишком мал!
Я шуток, что мой мозг теснят,
Бессмысленней не знал!

Перевод Анны Мусиной

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР.

**Из материалов школьного конкурса художественного перевода
«Мои первые переводы» (2017, 2018)**

William Henry Davies. A Plain Life

No idle gold – since this fine sun, my friend,
Is no mean miser, but doth freely spend.

No precious stones – since these green mornings show,
Without a charge, their pearls where'er I go.

No lifeless books – since birds with their sweet tongues
Will read aloud to me their happier songs.

No painted scenes – since clouds can change their skies
A hundred times a day to please my eyes.

No headstrong wine – since, when I drink, the spring
Into my eager ears will softly sing.

No surplus clothes – since every simple beast
Can teach me to be happy with the least.

Уильям Генри Дейвис ***

Блеск золота померкнет в мире тленном
При блеске солнца неизменном.
Не нужно изумрудов мне отныне,
Когда гуляю по зелёной я равнине.
И голос книги блекнет, если слышу я
Нежнейшие напевы соловья.
Пытается на холст перенести рука
То, что рисуют в небе облака.
И крепкое вино отвергнет тот,
Кто пьян весной и жизнь по капле пьёт.
Учись у зверя обходиться малым
И жизнь свою ты проживёшь не даром!

*Перевод Ростислава Коротича, ученика 10-А класса школы № 49 г. Макеевка
(unihorn29@mail.ru)*

Что золото? Его мне солнца свет
Охотно сыплет так, что меры нет.

И яркий блеск алмазов ни к чему,
Роса милей, чем жемчуг, поутру.
Что книги? Мне сухие их страницы
Уж точно не заменят пеня птиц.
К чему картины, коли в небе тучи
Меняют сто раз в день узор на лучший.
И ни к чему мне крепкое вино,
Коль заглушает песнь весны оно.
Зверюшки же нас учат одному –
Богатые наряды ни к чему.

*Перевод Ксении Кекилас, ученицы 9-Б класса школы № 115 г. Донецка
(donetsk115@rambler.ru)*

Не нужно золота. Мне солнце лучший друг,
А свет его мне заменяет мир вокруг.
И драгоценный блеск не нужен.
Роса заменит свет жемчужин.
Не нужно книг, что жизни лишены,
Лишь птиц мне песни сладкие нужны.
Не нужно дорогих картин, пока
На небе белые кружатся облака.
Не нужно мне пьянящего вина,
Пока поёт красавица-весна.
Природа — ты в моих глазах отрада,
Ведь жизнь проста, мне большего не надо!

*Перевод Екатерины Травкиной, ученицы 11 класса Донецкого многопрофильного
лицея № 1 г. Донецка (don_uvka@mail.ru)*

У. Г. Дейвис. Обычная жизнь

Не нужно золото копить —
Его мне солнце будет лить.
Не нужен мне алмазный клад —
Росинки на траве блещут.
Не нужно книжек веселей —
Споет мне лучше соловей.
Не нужно замерших мне сцен —
Любуюсь небом я взамен.
Не нужно, чтоб портвейн пьянил —
Вода добавит жизни, сил.
Не нужно кутаться в меха —
Жизнь без излишеств неплоха.

*Перевод Александра Коренева, ученика 11-А класса гимназии № 122 г. Донецка
(don.dpg122@gmail.com)*

У. Г. Дэвис. Простая жизнь

Не нужно золота — на солнце глянь, мой друг,
Оно не скряга, щедро светит всем вокруг.

Ни драгоценных изумрудов, жемчугов —
Есть свежесть утра, зелень, шум лесов.

Ни пыльных книг — лишь в звуках птичьих песен
Любой рассказ мне будет интересен.

Ни дорогих картин — на облака взгляни,
Загадочны, изменчивы они.

Ни своеволия, что дает вино,
Весны дыхания не заменит мне оно.

И ни одежд роскошных — звери, птицы
Без них умеют петь и веселиться.

*Перевод Анны Цибули, ученицы 11 класса Новоазовской школы № 3
(Novoazovskshkola3@yandex.ru)*

У. Г. Дейвис. Простая жизнь

Мне для богатства золота не надо,
Лишь солнца свет — душе моей отрада.

Не нужен блеск камней жемчужных,
А запах трав зеленых нужен.

И книжный мне сюжет совсем не весел —
Мне нужен птичий звон счастливых песен.

Зачем картины? Облака сто раз
Менялись перед взором моих глаз.

Не нужно чаши винной ни одной!
Я счастлив, да — я опьянен весной.

К чему излишество в нарядах?
Учиться у животных надо!

*Перевод Юлии Абдурашидовой, ученицы 11 класса школы № 1 г. Шахтерска
(bun25092000@inbox.ru)*

William Carlos Williams. Hunters In The Snow

The over-all picture is winter
icy mountains
in the background the return
from the hunt it is toward evening
from the left
sturdy hunters lead in
their pack the inn-sign
hanging from a
broken hinge is a stag a crucifix
between his antlers the cold
inn yard is
deserted but for a huge bonfire
that flares wind-driven tended by
women who cluster
about it to the right beyond
the hill is a pattern of skaters
Brueghel the painter
concerned with it all has chosen
a winter-struck bush for his
foreground to
complete the picture

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Зима написала картину.
Горы покрылись льдом,
зверобой на заднем плане
с охоты идут домой.

Я вижу трактира вывеску,
Качающуюся на петле.
Опустевший гостиничный двор и
Оленя с распятием.

Разносящийся ветром костёр
Все горит и горит из-за хвороста.
Конькобежцы спускаются вниз,
оставляя холм с узорами.

Художник сделал последний штрих,
Завершая им картину.
Он по центру поставил заснеженный куст,
А в углу подписал «Брейгель».

*Перевод Евгения Биличенко, ученика 11-А класса МОУ № 83 г. Донецка
(evgenibilichenko01@mail.ru)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники в снегу

Повсюду зима.
Ледяные горы
На заднем фоне. Возвращаясь
Вечером после охоты
Слева в картину
Входят крепкие охотники.
Следом свора псов. Вывеска гостиницы
Косо висит из-за
сломанной петли. Олень как распятие
Между его рогами холод.
Внутренний двор
Пуст, только огромный костёр
Вспыхивает на ветру, к нему направляются
Женщины справа.
Холм, конькобежцев фигуры.
Брейгель-художник
Изобразил все это
Зимний кустарник
Он выбрал для фона
Картина готова

*Перевод Олега Бедило, ученика 9-А класса школы № 10 г. Тореза
(polyakova22.06.1977@yandex.ua)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Зима на картине. Закованы в лед
Вдали виднеются горы.
Темнеет. С охоты устало
Бредут охотники
Свору собак направляя
К гостиничным стенам.
На вывеске едва виднеются
Олень и распятие.
Огромный костёр
Взметнулся под натиском ветра
И женщины справа к нему
Подступили плотнее.
Река пруд и холм
Дополняют картину.
Беспечно скользят по льду
Там и тут конькобежцы.

Картину художник закончил
Добавив по центру кустарник.

*Перевод Ивана Ларюхина, ученика 11-А класса школы № 83 им. Г. И. Баланова
г. Донецка (donova2011@yandex.ru)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

На картине — зима,
горы во льдах.
На заднем плане —
с охоты под вечер
возвращаются
крепкие охотники.
Слева —
вывеска гостиницы
висит в сломанной петле,
олень с крестом промеж рогами.
Холодный двор,
безлюдно.
Вокруг раздуваемого ветром
огромного костра
собрались женщины.
Справа —
холм и фигуристы.
Брейгель выбрал замерзший куст
на переднем плане,
завершая картину.

*Перевод Кирилла Посредникова, ученика 9-Б класса школы № 115 г. Донецка
(gwe656590@gmail.com)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

По всей картине — зима
обледенелые горы
на заднем плане возвращение
с охоты вечереет
слева
идут крепкие охотники
за ними свора вывеска корчмы
на одном крючке покосилась
олень с распятым
меж рогов холодный
двор корчмы
пуст но по ветру
пламя большого костра поддерживаемого
женщинами что собрались справа
холм и народ на коньках

художника Брейгеля
волнует всё это он выбрал
сражённый морозом кустарник
для переднего плана
чтобы закончить картину

Перевод Марии Паллон, ученицы школы № 96 г. Донецка (donschool.96@gmail.com)

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Все, что я вижу — зимний пейзаж,
Снег на холмах,
А сзади идут,

Возвращаясь с охоты,
В левом краю холста
Охотники, следом — их свора.

Вывеска криво висит,
На трактире —
Олень и распятие

Между его рогов.
Холодный пустынный двор,
И лишь огромный костер

Под порывами ветра
Питается хворостом,
что бросают ему

женщины справа. Холм,
конькобежцы под ним.
Брейгель-художник

Задумал для фона
Голый кустарник.
Картина готова.

*Перевод Дмитрия Хлюбка, ученика 11 класса «Шахтёрской гимназии»
г. Шахтерск (lava12-5@yandex.ru)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Общая картина — зима
и ледяные горы
на заднем плане возвращение

с охоты под вечер,
слева идет компания
крепких охотников
гостиничная вывеска висит
на сломанном шарнире — олень, распятие
между его рогами, холодный
двор гостиницы
пустынен, но у огромного костра,
что вспыхивает от порывов ветра,
столпились женщины,
а справа за холмом
конькобежцы
Художник Брейгель,
вдохновленный всем этим, выбрал
зимний куст
на переднем плане,
чтоб эту композицию закончить.

*Перевод Ксении Федюшиной, ученицы 11 класса школы № 46 г. Донецка
(ksiusha.fiediushina.00@mail.ru)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Картина изображает зиму
ледяные горы
на заднем плане возвращение
с охоты ближе к вечеру
слева
крепкие охотники несут
добычу вывеска гостиницы
висит на одной петле
изображая оленя и распятие
между его рогами холодный
двор гостиницы
пуст, но большой костёр
горит раздуваемый ветром
женщины теснятся справа за ним
на холме узор конькобежцев
художник Брейгель
написал всё это и поместил
заснеженный куст
на передний план
чтобы закончить картину.

Перевод Анастасии Паниной, ученицы 9 класса школы № 115 г. Донецка

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Я вижу фон зимние
громады льдов
вернувшихся
с охоты ближе к вечеру
слева
крепких охотников с собаками
они бредут по снегу вывеска трактира
свисает
на оборванной петле олень и распятие
между его рогами холодный
двор гостиницы
пустой но пламя-великан
растет под ветром
и под присмотром
женщин что толпятся
вокруг него а справа холм
снуют фигуры конькобежцев
художник Брейгель
захваченный потоком жизни выбрал
зимой пленённый куст
на первом плане чтоб
завершить картину

*Перевод Юлии Чеботарёвой, ученицы 10-А класса Новосветской школы № 1 пгт
Новый Свет, Старобешевской района Донецкой области (uni10corm@gmail.com)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

На общем фоне — возвращенье
С охоты зимней поздней порой.
Среди сугробов и обледенелых гор
Охотники идут домой.

На сломанном шарнире у гостиницы — оленя знак.
Между его рогами — холод, двор пустынный.
Но для огромного костра есть место тихое,
Где женщины готовят ужин.

Там холм правее, где коньками
выписывают странные фигуры
умельцы двигаться на льду.
Так мастер красок Брейгель

завершил изображение
охотников и мир вокруг селенья,
расположив на первом плане зимний куст
засыпанный снежком.

*Перевод Марии Болотовой, ученицы 9-А класса школы № 68 г. Донецка
(boloticm@mail.ru)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Всюду зима и снежные вершины гор.
Вечером с охоты возвращаясь,
В левый край холста входят охотники и псы.
Вывеска косо висит, а на трактире олень и распятие.
Лишь костер, языками отзываясь ветру
И кидаясь на брошенный женщинами хворост,
Греет в это холодное время.
Здесь и холм, и конькобежцы под ним.
Брейгель-художник все это вбирает в себя,
А в качестве фона голый кустарник.
Вот и готова картина.

*Перевод Анастасии Zubовой, ученицы 10-А класса УВК № 16 г. Донецка
(szubov77@gmail.com)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Картина изображает зиму:
холмы, засыпанные снегом,
на дальнем плане полотна...

Уже вечерет,
уставшие охотники уставшие, а с ними собаки
словно входят в картину
с левого края холста.

Вывеска косо висит на трактире,
оленьи рога...

На дворе холодает,
лишь мощный костер,
раздуваемый ветром, горит,
согревая группу крестьян...

Справа — холмы,
а под ними — ребята
коньками рисуют узоры.

Художник Брейгель,
увлеченный пейзажем,
на ближнем плане
поместил замерзший куст,
чтоб завершить картину.

*Перевод Максима Фёдорова, ученика 10 класса школы № 46 г. Донецка
(www.maksim.azot.dn@gmail.com)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Общая картина зимы
Ледяные горы
На их фоне — с охоты
Возвращение под вечер,
Слева
Крепкие охотники
Идут ватагой,
Знак гостиницы
Висит на
Сломанном шарнире — олень и распятие
Между его рогами, холод
Во внутреннем дворе
Пустынно, но у огромного костра
Раздуваемого ветром, справа
Толпятся женщины,
К подножию холма кататься на коньках
Пришли ребята.
Художник Брейгель,
Обо всем подумав, выбрал
Замерзший куст — тот, что
Показан на переднем плане —
Для полноты картины.

*Перевод Дарьи Панченко, ученицы 11 класса школы № 46 г. Донецка
(kisametisa@gmail.com)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники в лесу

Перед нами картина — зимние
ледяные горы.
На их фоне, слева,
ближе к вечеру
возвращаются охотники,
неся свою добычу. Знак гостиницы

«У оленя между рогов»
висит на сломанной
петле. Холодно.
Внутренний двор
пустынен, там огромный костёр
вспыхивает от ветра.

Рядом, справа от него,
хлопочут женщины.
Весь холм в следах
от коньков фигуристов.
Художник Брейгель
выбрал этот вид не просто так.
Впереди обледеневший куст,
он нужен, чтобы закончить картину.

*Перевод Екатерины Дорошко, ученицы 10 класса специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков № 19 г. Донецка
(kate.cuznetsova1234@yandex.ru)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Передо мною полная картина:
зимы творенье — ледяные горы
На заднем плане — возвращение
с охоты, вечереет,
слева охотники
спускаются ватагой
Гостиничная вывеска свисает
Со сломанной петли.
На ней олень-самец, распятое
между его рогов, холодный
двор трактира пуст
Но большой огонь,
что во дворе пылает,
раздуваемый ветрами,
поддерживают женщины.
А справа за холмами
Катаются ребята на коньках.
Художник Брейгель
озаботился всем этим
и выбрал куст замерзший,
тот, что показан на переднем плане,
чтобы свою картину завершить.

Перевод Александра Мельничука, ученика 9-Б класса школы № 46 г. Донецка

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Вся картина в снегу
горы заснежены
вдали возвращенье
с охоты близится вечер
слева
охотники-здоровяки
за ними свора собак
гостиничная вывеска
свесилась с петли на вывеске
олень с распятием
между рогов холод
в гостиничном дворике
безлюдно но громадный костёр
пламенеет раздуваемый ветром
женщины подбрасывают
вязанки хвороста стоя справа
за холмом стайка конькобежцев
художник Брейгель
на это смотревший выбрал
морозом прибитый куст
для переднего плана чтоб
завершить картину

*Перевод Илоны Гнилицкой, ученицы 11-А класса школы № 10 г. Тореза
(polyakova22.06.1977@yandex.ua)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

Зимняя картина.
На заднем плане ледяные горы.
Вечереет. Слева
возвращаются с охоты
крепкие охотники,
окруженные собачьей сворой.
Вывеска трактира.
Петля сломана.
Благородный олень с распятием
между рогами. Холод.
Гостиный двор пустынен,
только полыхает огромный костер на ветру.
Группа женщин возле него.
Прямо за холмом силуэты фигуристов.

Художник Брейгель,
вдохновлённый всем этим,
для завершения картины
выбрал заледеневший куст
и поместил его на передний план.

*Перевод Натальи Михалевой, ученицы 9-А класса школы № 10 г. Тореза
(polyakova22.06.1977@yandex.ua)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники на снегу

У Брейгеля изображён пейзаж.
На нём зима повсюду.
Здесь есть и ледяные горы,
И пламя от огромного костра.
Уже смеркается,
Охотники спешат из леса,
Вокруг охотничьи собаки,
И женщины с надеждой ждут их.
Есть на переднем плане куст,
Он также часть картины.
Ведь все детали здесь
Важны все вместе и едины.

*Вольный перевод Александры Ладной, ученицы 10-А класса школы № 10 г. Тореза
(polyakova22.06.1977@yandex.ua)*

Уильям Карлос Уильямс. Охотники в снегу

Зимний вечер тих и ясен
Посмотреть направо — горы,
Видим куст мы жёлто-красный
И замёрзло где-то поле.
Слева в центре (присмотритесь)
Возвращаются с охоты
Трое крепышей довольных
К матерям своим и жёнам.
А ещё левее бабы
Разжигать костёр решили,
Но зачем — мне непонятно
Видно, только распалили.
В завершение скажу я,
Что художник — это Брейгель.
Лицезреть картину можно,
Если очень захотели.

*Ироническое переложение в духе Гр. Остера по уильямсовским мотивам Юлии
Сороколиты, ученицы 10 класса школы № 1 г. Ясиноватая (sorokolita01@mail.ru)*

Sylvia Plath. Black Pine Tree In An Orange Light

Tell me what you see in it:
The pine tree like a Rorschach-blot
black against the orange light:

Plant an orange pumpkin patch
which at twelve will quaintly hatch
nine black mice with ebon coach,

or walk into the orange and make
a devil's cataract of black
obscure god's eye with corkscrew fleck;

put orange mistress half in sun,
half in shade, until her skin
tattoos black leaves on tangerine.

Read black magic or holy book
or lyric of love in the orange and black
till dark is conquered by orange cock,

but more pragmatic than all this,
say how crafty the painter was
to make orange and black ambiguous.

Сильвия Плат. Сосна на оранжевом свету

Расскажи, что видишь в ней —
В нарисованной сосне
На оранжевом холсте.

Видишь ли картину эту,
Где из тыкв выходят крысы
И впрягаются в карету.

Люцифер проникся злом,
Очи Господу застав
Ослепляющим бельмом.

Или дама ищет тень,
Пряча родинки свои
От лучей в палящий день.

Или это кипы книг,
Что читаешь вместо снов
Ты до первых петухов.

В том художника талант,
Что на все вопросы эти
Нам прямой ответ не дан.

Перевод Виктории Тимошенко, студентки 3 курса специальности «Лингвистика, перевод и переводоведение» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (10.years.ago@mail.ru)

Сильвия Плат. Сосна, чернеющая в оранжевом свете

Скажи, что видишь в этом ты:
Танец недвижимой сосны играет Роршаха пятном
В закатном свете.

Из тыкв румяных чернотой
Через сражение с пустотой
В мир девять мышек мчат в эбеновой карете.

Или, быть может, на свету,
Став мрачной пустошью в Раю,
Бельмом мешаемся мы в светлом взоре Бога?

Пусть мандарин целует тень
Наполовину; властный день
Контрастом станет почерневшему ожогу

По чернокнижию труды,
Святые книги и стихи –
Все тонет в черно-рыжем черством диссонансе.

Но сколько страсти в их борьбе!
Жизнь двух цветов на полотне
В умах людей мелькает в многогранном танце.

Перевод Александры Кириченко, студентки 2 курса специальности «Перевод и переводоведение (английский язык)» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (Alkirdash.ua@mail.ru)

Сильвия Плат. Чёрная сосна в оранжевом свете

Что ты видишь здесь, скажи:
Роршаха пятном сосна
Против рыжего черна.

Латку тыкве положи —
В полночь разорвут её
Чёрный кучер и мышьё.

Иль, в апельсин зайдя, создай
Чёрное дьявола бельмо,
Для ока божия пятно.

Коль дама не вполне в тени,
Ей солнце нанесёт тату,
Как мандарину на листву.

О чёрной магии читай
Иль лирику любви — пока
Тьма побежит от петуха.

Но прагматичнее всего
Сказать: художник был лукав,
Цвета и смыслы так смешав.

*Перевод Анастасии Овчаренко, ученицы 11 класса профиля «Русская филология»
Республиканского многопрофильного лицея-интерната при Донецком национальном
университете (novcharenko@yandex.ua)*

Сильвия Плат. Черная сосна в оранжевом цвете

Скажи мне, где ты видишь прелесть в этом:
Стоит сосна с двояким силуэтом
Вся в черном, ограненном рыжим светом.

Оранжевая тыква — просто чудо!
Ты посади. Но в полночь будет худо:
Черные мыши вылезут оттуда.

Иль загляни в чертоги апельсина
Невероятно! Что за чертовщина!
Там в черных пятнах око Господина!

Окутай тело спутницы порою

Лучами солнца и волшебной тьмою.
Увидишь кожу с рыжею тесьмою.

И будь то гримуар или святыня,
Роман или цитаты на латыни,
Златой петух осилит тьму отныне.

И согласишь, полно в творце умений.
Ведь смог наполнить этот чертов гений
Всего два цвета массою значений!

*Перевод Анны Ивановой, студентки специальности «Фармация» ФГБОУ ВО
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) Минздрава России
(г. Томск) (Ivanna214@mail.ru)*

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЧИТАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ — 2018»

Jesmyn Ward. Sing, Unburied, Sing

The smell of the liver searing in the pan is heavy in the back of my throat, even through the bacon grease Pop dribbled on it first. When Pop plates it, the liver smells, but the gravy he made to slather on it pools in a little heart around the meat, and I wonder if Pop did that on purpose. I carry it to Mam's doorway, but she's still asleep, so I bring the food back to the kitchen, where Pop drapes a paper towel over it to keep it warm, and then I watch him chop up the meat and seasoning, garlic and celery and bell pepper and onion, which makes my eyes sting, and set it to boil.

If Mam and Pop were there on the day of Leonie and Michael's fight, they would have stopped it. The boy don't need to see that, Pop would say. Or *You don't want your child to think that's how you treat another person*, Mam might've said. But they weren't there. It's not often I can say that. They weren't there because they'd found out that Mam was sick with cancer, and so Pop was taking her back and forth to the doctor. It was the first time I could remember they were depending on Leonie to look after me. After Michael left with Big Joseph, it felt weird to sit across the table from Leonie and make a fried potato sandwich while she stared off into space and crossed her legs and kicked her feet, let cigarette smoke seep out of her lips and wreath her head like a veil, even though Mam and Pop hated when she smoked in the house. To be alone with her. She ashed her cigarettes and put them out in an empty Coke she had been drinking, and when I bit into the sandwich, she said:

“That looks disgusting.”

She'd wiped her tears from her fight with Michael, but I could still see tracks across her face, dried glossy, from where they'd fallen.

“Pop eat them like this.”

“You got to do everything Pop do?”

I shook my head because it seemed like what she expected from me. But I liked most of the things Pop did, liked the way he stood when he spoke, like the way he combed his hair back straight from his face and slicked it down so he looked like an Indian in the books we read in school on the Choctaw and Creek, liked the way he let me sit in his lap and drive his tractor around the back, liked the way he ate, even, fast and neat, liked the stories he told me before I went to sleep. When I was nine, Pop was good at everything.

“You sure act like it.”

Instead of answering, I swallowed hard. The potatoes were salty and thick, the mayonnaise and ketchup spread too thin, so the potatoes stuck in my throat a little bit.

“Even that sounds gross,” Leonie said. She dropped her cigarette into the can and pushed it across the table to me where I stood eating. “Throw that away.”

She walked out the kitchen into the living room and picked up one of Michael’s baseball caps that he’d left on the sofa, before pulling it low over her face.

“I’ll be back,” she said.

Sandwich in hand, I trotted after her. The door slammed and I pushed through it. *You going to leave me here by myself?* I wanted to ask her, but the sandwich was a ball in my throat, lodged on the panic bubbling up from my stomach; I’d never been home alone.

“Mama and Pop be home soon,” she said as she slammed her car door. She drove a low maroon Chevy Malibu that Pop and Mam had bought her when she’d graduated from high school. Leonie pulled out the driveway, one hand out the window to catch the air or wave, I couldn’t tell which, and she was gone.

Something about being alone in the too-quiet house scared me, so I sat on the porch for a minute, but then I heard a man singing, singing in a high voice that sounded all wrong, singing the same words over and over. “Oh Stag-o-lee, why can’t you be true?” It was Stag, Pop’s oldest brother, with a long walking stick in hand. His clothes looked hard and oily, and he swung that stick like an axe. Whenever I saw him, I couldn’t never make out any sense to anything he said; it was like he was speaking a foreign language, even though I knew he was speaking English: he walked all over Bois Sauvage every day, singing, swinging a stick. Walked upright like Pop, proud like Pop. Had the same nose Pop had. But everything else about him was nothing like Pop, was like Pop had been wrung out like a wet rag and then dried up in the wrong shape. That was Stag. I’d asked Mam once what was wrong with him, why he always smelled like armadillo, and she had frowned and said: *He sick in the head, Jojo*. And then: *Don’t ask Pop about this*.

Джесмин Уорд. Пой, непогребенный, пой

В кухне на сковороде шкварчит печень — меня до сих пор мутит от ее запаха, хоть перед жаркой папа добавил в нее топленый жир. Печень пахнет все так же, когда папа кладет ее на тарелку. Я замечаю, что подлива, которую он приготовил, растеклась вокруг печени сердечком. Интересно, это он нарочно? Я несю блюдо к двери маминой спальни, но застаю ее спящей, отношу его

обратно на кухню и там папа бережно укутывает еду в бумажное полотенце, чтобы она не остыла, — а потом наблюдаю, как он рубит остальное мясо на мелкие кусочки, добавляет специи, чеснок, сельдерей, болгарский перец и лук, который щиплет мне глаза, и ставит все это на огонь.

Если бы папа с мамой были здесь в тот день, когда Леони и Майкл подрались, они бы их непременно разняли. «Парню это видеть ни к чему», — сказал бы папа. А мама бы сказала: «какой пример вы подаете ребенку?» Но их там не было. Так случалось нечасто. А не было их потому, что у мамы тогда нашли рак, и папа то и дело возил ее к врачу. На моей памяти это был первый случай, когда Леони попросили присмотреть за мной. Когда Майкл ушел с Большим Джо, мне было неловко сидеть напротив Леони за одним столом и делать бутерброд с картошкой фри. Она сидела с отсутствующим видом, закинув ногу за ногу, постукивая каблуком. Сигаретный дым струился из ее губ и окутывал голову, словно вуалью, а ведь она прекрасно знала, что родители терпеть не могут, когда она курит дома. Остаться с ней один на один, подумать только!

Она стряхнула пепел и затушила сигареты о пустую банку Колы. Когда я откусил бутерброд, она бросила:

— Гадость какая!

Она вытерла слезы после драки с Майклом, но их следы — подсыхающие блестящие дорожки — все еще были видны на ее лице.

— А папа такое любит.

— А тебе обязательно все обезьянничать?

Я затряс головой в знак несогласия — по-моему, именно этого она от меня и ждала. На самом деле, мне многое нравилось в папе: нравилась его манера говорить, то, как он гладко зачесывает назад волосы и становится похожим на индейца племени чокто и криков, о котором мы читали в школе; мне нравилось, когда папа разрешал забираться к нему на колени и водить его трактор на заднем дворе; нравилось, как он ест — спокойно, быстро, аккуратно; нравились истории, которые он рассказывал перед сном. Когда мне было девять, папа был идеален во всем.

— А делаешь все, как он.

Вместо ответа я нервно сглотнул. Картошка была пересолена и нарезана толстыми ломтями, а майонеза и кетчупа можно было положить побольше, чтоб не давиться.

— Меня от вас тошнит, — сказала Леони.

Она бросила окурок в жестяную банку и толкнула через стол мне, стоящему напротив с бутербродом.

— Выбрось.

Она вышла из кухни, прошла в спальню и подхватила одну из бейсбольных кепок Майкла, которые он оставил на диване. Перед тем как натянуть ее пониже на брови, она бросила:

— Скоро буду.

С бутербродом в руке я побежал за ней. Рывком открыл захлопнувшуюся перед носом дверь. — Ты бросаешь меня одного? — хотел крикнуть я, но

бутерброд застрял в горле. От волнения у меня урчало в животе: я никогда еще не оставался дома один.

— Мама с папой скоро вернутся, — крикнула она, захлопывая дверь машины. Она водила бордовый Шевроле с низкой посадкой — подарок родителей в честь окончания школы.

Леони выехала со двора. Ее рука показалась из окна автомобиля, но я не мог понять, машет ли она мне или просто решила проветрить машину.

Мне было страшно оставаться одному в непривычно тихом доме, и я опустил на крыльцо. Вдруг до меня донесся высокий мужской голос фальшиво распеваящий одни и те же слова. "О, Ста-го-ли, ай-ай-ай, почему же ты такой негодяй?" Это был Стаг⁶, старший брат папы. На нем было грязное и замасленное тряпье, а в руке он держал длинную прогулочную трость, которой размахивал, как топором. Я никогда не мог толком понять ни слова из того, что он бормотал; слова казались иностранными, хотя я точно знал, что он говорит по-английски: каждый день он прогуливался по нашему городку Буа Соваж, напевая и помахивая своей тростью. У него была походка и гордая осанка, как у папы. Такой же нос, как у папы. Но во всем остальном у них не было ничего общего. Все равно, как если бы папу выкрутили, словно мокрую вещь, а потом высушили, сложив, как попало. Таков был Стаг. Однажды я спросил у мамы, что с ним не так, почему от него всегда воняет как от бродяги? Она нахмурилась и сказала: — Он больной на голову, Джоджо. И добавила: — Только не спрашивай об этом папу.

Перевод Елены Вишневской, магистра специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (avgusta.vsn@gmail.com), занял первое место в номинации «английская проза» на конкурсе «Читающий Петербург-2018»

Джесмин Уорд. Песня, небываемая песня

На сковородке жарится печенка, и ее тяжелый запах застревает в горле, хотя папа добавил первым свиной жир. Когда он кладет печенку на тарелку, она по-прежнему пахнет, но папа поливает ее сделанной им подливой так, что получается сердечко. Любопытно, он это нарочно? Я отношу тарелку к матери, но она еще спит, поэтому я возвращаю все обратно на кухню. Папа накрывает тарелку бумажной салфеткой, чтобы печенка не остывала, потом рубит мясо и зелень, чеснок и сельдерей, горький перец и лук, от которого у меня слезятся глаза, и ставит все вариться.

Будь мама с папой здесь, когда Леони и Майкл устроили скандал, они бы их остановили. «Ребенку незачем все это видеть», — сказал бы папа. Или: «*Вы хотите, чтобы мальчик думал, что вот так вы друг к другу относитесь?*» — как сказала бы мама. Но их там не было. Признаю, так случилось редко. Их там

⁶ Stag – "говорящее имя" персонажа: оно означает оленя-самца и холостяка без дамы, близко по ассоциациям русскому слову "жеребец" (прим. переводчика).

не было, потому что у мамы нашли рак, и папа возил ее по врачам. Они впервые доверили Леони присматривать за мной. Майкл уехал вместе с Большим Джозефом, и так было странно делать сэндвич с жареной картошкой напротив Леони, пока она сидела, уставившись в пустоту и качая ногой на весу. Она выпускала дым тонкими струйками сквозь сжатые губы, и дым окутывал ей голову как будто вуалью, хотя мама и папа терпеть не могли, когда она курит в доме. Я остался с ней вдвоем. Она стряхивала пепел от сигарет в выпитую бутылку колы. Я откусил свой сэндвич, и она заявила: «Фу, мерзость!»

Она вытерла слезы после скандала с Майклом — и они почти высохли, но на лице еще блестели их следы.

«Ты ешь, как папа».

«Ты все собираешься за ним повторять?»

Я отрицательно замотал головой, будто именно этого от меня и ждали. Но вообще мне нравилось почти все, что папа делает: как он стоит, когда разговаривает, как он гладко зачесывает волосы назад — и становится похожим на индейца из той книжки, которую мы читали в школе об индейцах чокто и криках; нравилось, как он оборачивается, даже как ест — быстро и аккуратно, нравились его истории перед сном. Для меня, девятилетнего, отец был всем.

«Конечно, будешь».

Я сглотнул не отвечая. Картошка была соленой и слишком толсто порезанной, майонеза и кетчупа не хватало, поэтому она стояла комом в горле. «Даже это звучит паршиво», — сказала Леони. Она выбросила окурок в банку и толкнула ее через весь стол ко мне, где я ел стоя: «Выкинь».

Пройдя из кухни в гостиную, она подобрала одну из кепок Майкла, лежавшую на диване, и надела ее, низко опустив козырек: «Сейчас вернусь». С сэндвичем в руке я побрёл за ней. Дверь захлопнулась, и я с трудом ее приоткрыл. «Ты что, хочешь бросить меня здесь одного?» — хотел я ее спросить, но кусок сэндвича застрял в горле комком из-за растущей из самого желудка паники: я никогда не оставался дома один.

«Мама и папа скоро вернутся», — сказала она, хлопывая дверцу машины. У нее был темно-бордовый Шевроле Малибу, который мама и папа подарили ей на окончание школы. Леони выехала на дорогу, высунув руку в окно то ли проветривая машину, то ли махнув мне из окошка, не знаю, и скрылась из виду.

Я боялся почему-то оставаться один в чересчур тихом доме, поэтому немного посидел на крыльце, а потом услышал, как поет высокий мужской голос — распевает совершенно фальшиво одни и те же слова, снова и снова: «О, Стэг О'Ли, где же ты». Это был Стэг, старший папин брат с длинной палкой наподобие трости. Он был одет во что-то жесткое и промасленное, и размахивал палкой как топором. Каждый раз при виде его, я не мог разобрать его слов; казалось, будто он говорит на иностранном языке, хотя я знал, что это английский. Каждый день он слонялся по Буа Соваж, напевая и размахивая тростью. Ходил так же прямо, как папа, с таким же достоинством. И нос у него, как у папы. А в остальном ничего похожего, или было похоже на папу,

которого выжали, как мокрую тряпку, а потом она высохла и превратилась неизвестно во что. Таким был Стэг. Я спросил у мамы, что с ним, почему от него воняет, как от оборванца, и мама, нахмурившись, сказала: «У него не все в порядке с головой, Джоджо». И добавила: «Только не спрашивай об этом папу».

Перевод Екатерины Коваленко, магистра специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (kovalenkoesck@yandex.ua)

Джесмин Ворд. Пойте, непогребённые, пойте

Запах шипящей на сковороде печени тяжело сдавливает мне горло даже несмотря на то, что Папка сперва сбрызнул мясо растопленным свиным жиром. Выложенная Папкой на тарелку печень смердит, но добавленный им соус расплывается вокруг мяса в виде сердечка, и я задумываюсь, не сделал ли он так специально. Я несу тарелку в комнату Мамуси, но она ещё спит, так что я возвращаюсь на кухню. Там Папка, чтобы еда не остыла, оборачивает тарелку бумажным полотенцем, и я наблюдаю за тем, как он мелко нарубает мясо с приправами, чеснок, сельдерей, болгарский перец, огурцы, отчего мои глаза начинают жутко слезиться, и ставит это всё на огонь.

Если бы Мамуся и Папка были дома в тот день, когда Леони и Майкл затеяли драку, они бы её остановили. Не надо мальчишке это видеть, сказал бы Папка. «Твой ребёнок не должен думать, что вот так и надо обращаться с другим человеком», могла бы сказать Мамуся. Но их здесь не было. Нечасто я могу так сказать. Не было их потому, что у Мамуси обнаружили рак, и Папка возил её туда-сюда по врачам. То был первый раз на моей памяти, когда они оставили меня на попечение Леони. После того, как Майкл с Большим Джозефом ушли, мне стало неуютно сидеть напротив Леони за столом и делать себе сэндвич с картошкой-фри, пока она, скреживая и пиная собственные ноги, бездумно тарасилась в пространство и выпускала изо рта сигаретный дым так, чтобы он вуалью окутывал её голову, хотя Мамуся и Папка не выносили, когда она курила в доме. Мне было неуютно наедине с ней. Она тушила сигареты и бросала их в пустую банку из-под недавно допитой ею колы, а когда я откусил кусочек от сэндвича, она изрекла:

— Выглядит просто отвратно.

Хотя Леони после драки с Майклом и вытерла глаза, я всё равно мог различить уже сухие, слабо поблёскивавшие дорожки от слёз, пересекавшие её лицо.

— Папка вот так и ест сэндвичи.

— Тебе что, во всём надо повторять за Папкой?

Я помотал головой — именно такой реакции она, скорее всего, от меня и ожидала. Но на самом деле мне нравилось почти всё, что делал Папка — нравилось, как он стоял во время разговора, нравилось, что он зачёсывал волосы так, что становился похожим на индейцев чокто или крик, о которых

мы читали в школе, нравилось, как он усаживал меня к себе на колени и позволял поводить трактор на заднем дворе, нравилось, как он ел — быстро и аккуратно, нравились истории, которые он рассказывал мне на ночь. Когда мне было девять, Папка казался мне идеалом во всём.

— Но ты явно ведёшь себя как он.

Я не ответил, только тяжело сглотнул. Кусочки картошки получились слишком солёными и толстыми, а майонеза с кетчупом было мало, поэтому еда застряла у меня в горле.

— Ну и противный же звук, — буркнула Леони. Она бросила окурок в банку и толкнула её через весь стол ко мне. — На, выплюнь.

Затем она прошла из кухни в гостиную, подняла с дивана одну из бейсбольных кепок Майкла и надвинула её на глаза.

— Скоро вернусь, — сказала Леони.

Я кинулся за ней с сэндвичем в руке. Дверь захлопнулась, и мне пришлось с разбега навалиться на неё. «Ты чего, меня тут одного бросишь?!» — хотел было спросить я, но кусок сэндвича комом застрял у меня в горле, буквально нависнув над паническим клокотанием в желудке. Я ещё никогда не оставался дома один.

— Мамуся и Папка щас придут, — бросила Леони, хлопнув дверью автомобиля — бордового Chevy Malibu низкой посадки, который родители купили ей по случаю окончания старшей школы. Леони вырулила на шоссе, держа одну руку в открытом окне — я так и не понял, махала она мне или просто хотела проветрить салон — и уехала прочь.

Перспектива сидеть одному посреди царившей в доме тишины пугала меня, так что я с минутку посидел на крыльце, а потом услышал, как кто-то поёт — высоким голосом, совершенно фальшиво, всё повторяя одни и те же слова: «О, Стэг-о-ли, почему ты такой гуляка?». Это с длинной тростью в руке шагал Стэг, старший из братьев Папки. Одежда его была засаленной, и он размахивал своей тростью, словно топором. Всякий раз, когда я его встречал, его речь казалась мне полной бессмыслицей — он как будто говорил на чужом языке, хоть я и знал, что это был английский. Он каждый день гулял по Буа Саваж, распевая песни и размахивая тростью. Он ходил в точности как Папка — гордо подняв голову. И нос его был таким же, как у Папки. Но это были единственные черты, сближавшие их — как будто Папку выжали, словно мокрое полотенце, и он высох в какой-то нелепой форме. Вот таким был Стэг. Как-то раз я спросил у Мамуси, почему он такой странный, и почему от него всегда так несёт, и в ответ она, нахмурившись, сказала: «Он на голову больной, Джоджо». И ещё добавила: «Только Папку об этом не спрашивай».

Перевод Алины Абрамянц, магистра специальности «Французская филология (язык и литература)» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (nira.wolfdog@mail.ru)

Джесмин Уорд. Пойте, непогребённые, пойте

Вонь подгорающей на сковородке печенки стояла комом у меня в горле, даже несмотря на то, что Папа полил ее топленым салом. Когда Папа накладывает печенку на тарелку, смердит она также сильно, но подливка, которой он полил ее, собирается в форме маленького сердечка вокруг мяса, и мне интересно: он это нарочно сделал? Я несую тарелку к Маминим дверям, но она еще спит, и я уношу еду обратно на кухню, где Папа накрывает ее бумажным полотенцем, чтоб она оставалась теплой, ну, а затем смотрю, как он нарезает мясо и овощи для заправки: чеснок и сельдерей, болгарский перец, а еще лук, от которого щиплет в глазах, и ставит все это варить.

Если бы Мама и Папа были дома в день драки Леони и Майкла, они бы их остановили. «Мальцу негоже такое видеть», — сказал бы Папа. «Вот так малой и приучится к таким разборкам», — сказала бы Мама. Но их там не было. И нельзя сказать, что так случалось часто. Тогда их не было, потому что они узнали, что Мама заболела раком, и поэтому Папа часто возил ее к врачу. Как я помню, они тогда впервые попросили Леони присмотреть за мной. Когда Майкл уехал с Большим Джозефом, было странно сидеть за столом напротив Леони и делать бутерброд с жареной картошкой, пока она просто уставилась куда-то вдаль, скрещивала ноги и болтала ими, выпуская через губы сигаретный дым, а он клубился вокруг нее, как вуаль, хотя Мама и Папа терпеть не могли, когда кто-то курил в доме. А тут мы с ней дома одни! Она стряхивала пепел с сигарет и складывала бычки в пустую банку от колы, и когда я откусил бутерброд, она сказала:

«Фу, гадость!» Она вытерла слезы после драки с Майклом, они почти высохли, но еще блестели дорожками там, где стекали по лицу.

«Папа их так ест».

«И что, надо все за ним повторять?»

Я покачал головой: по-моему, именно этого она и хотела от меня. Но мне нравилось почти все, что делал Папа: нравилось, как он стоял, когда говорил, как он зачесывал волосы назад и приглаживал их, и он становился похожим на индейца из книг, которые мы читали в школе про племена «чокто» и «криков», нравилось, что он позволял мне сидеть на коленях и водить трактор на задворках дома, нравилось, как он ел, быстро и аккуратно, нравились истории, которые он рассказывал мне перед сном. Когда мне было девять лет, Папа служил примером во всем.

«Ты обезьянничает».

Вместо ответа я с трудом проглотил картошку. Она была соленой и слишком крупной, а майонеза и кетчупа слишком мало, поэтому я чуть не поперхнулся.

«Отвратительно как!», — прошипела Леони. Она бросила сигарету в банку и подтолкнула ее ко мне через весь стол туда, где я ел стоя: «Выбрось».

Она вышла из кухни в гостиную, взяла одну из бейсбольных кепок Майкла, которую он оставил на диване, и низко надвинула ее на лоб.

«Я вернусь», — сказала она.

С бутербродом в руке я побежал за ней. Дверь захлопнулась, и я налег на ручку. «Ты меня снова бросаешь?» — хотел я ее спросить, но комочек кусок

бутерброда застрял комом в горле, а из живота пошла вверх волна панического страха; я никогда раньше не оставался один дома.

«Мама и Папа скоро вернутся домой», — сказала она, хлопнув дверью машины. Она водила бордовый Шеви Малибу с низкой посадкой, который Папа и Мама купили ей по окончании средней школы. Леони выехала с подъездной дорожки, выставив одну руку окно, чтобы помахать или проветрить машину — я так и не понял — и уехала.

Я боялся один находиться в чересчур тихом доме, поэтому чуток посидел на крыльце, а потом услышал, как кто-то поет. Высокий голос жутко фальшивил, повторяя одни и те же слова снова и снова. «О-о-о-Стег-о-о-о-Ли-и-и-и⁷, почему ты не можешь быть таки-и-и-м?» Это Стег, старший брат Папы, с длинной тростью в руке. На нем была грубая засаленная одежда, и он размахивал тростью, как топором. Всякий раз при встрече с ним, я не мог разобрать ни единого его словечка, что бы он ни говорил; словно он говорил на иностранном языке, хотя я знал, что говорит он по-английски: каждый день он расхаживал по всему Буа-Соважу, пел, размахивал палкой. Ходил с выпрямленной спиной, как Папа, был такой же осанистый, как Папа. Его нос, совсем как Папин. Но во всем остальном он был совершенно не похож на него, как будто Папу выжали, словно влажную тряпку, а затем высушили, и он принял неправильную форму. Таков был Стег. Однажды я спросил маму, что с ним такое, почему он всегда воняет как скунс, а она нахмурилась и сказала: «Он не дружит с головой, Джоджо». А затем добавила: «Только не спрашивай папу об этом».

Перевод Ярослава Смирнова, магистра специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (syi8@list.ru)

Джесмин Уорд. Пойте, непогребенные, пойте

Запах печёнки, пригоревшей на сковородке, застревает в горле и даже перебивает запах жира, которым Папа вначале её полил. Когда Папа насыпает печёнку, она все ещё пахнет, но подливка, которой он хорошенько её сдобрил, растекается вокруг мяса сердечком. Интересно, Папа специально так сделал? Я несу тарелку к Маме в комнату, но она еще спит, и я отношу еду обратно на кухню, и Папа прикрывает её бумажным полотенцем, чтобы не остыла, а потом я смотрю, как он мелко нарезает мясо, чеснок и сельдерей, и перец, и лук — у меня уже режет глаза, и всё это он начинает варить.

Если бы Мама и Папа были здесь в тот день, когда Леони и Майкл подрались, они бы их разняли. Папа бы сказал: негоже мальчишке на такое смотреться. Или Мама могла бы сказать: *Ты же не хочешь, чтобы твой*

⁷ Stagger Lee — американская народная песня, повествующая об убийстве Билли Лайонса Ли «Стегом» Ли Шелтоном, сутенером, который был известен своим кратким нравом и яркой помпезной одеждой. Также Stag — в переводе с английского языка — олень-самец. Олени-самцы известны своим рёвом во время гона, заявляющим о правах на территорию (прим. переводчика).

ребенок думал, что именно так ты ведешь себя с людьми. Но их не было тогда. Нечасто я говорю эту фразу. Их не было тогда, потому что они только узнали о Маминем раке: Папа водил её постоянно к врачу. Насколько я помню, им пришлось оставить меня под присмотром Леони впервые. После того, как Майкл уехал с Большим Джозефом, мне было так непривычно сидеть за столом напротив Леони и делать сэндвич с жареной картошкой. Она уставилась вдаль, болтая ногой в воздухе, и покуривала сигарету, при этом дым клубился вокруг её волос, словно вуаль. И это при том, что Мама и Папа терпеть не могут, когда она курит в доме. А тут я с ней совсем один! Она стряхнула пепел и затушила сигареты в банке из-под колы, которую она только что выпила, а когда я откусил сэндвич, сказала:

«Мерзость».

Хоть она и вытерла слезы после драки с Майклом, я все равно заметил, как поблёскивают подсохшие капли на ее лице.

«Папа есть их так».

«Обязательно всё повторять за Папой?»

Я покачал головой: казалось, она этого от меня и ждала. Но мне нравилось почти всё, что делает Папа: нравилось, как он держится при разговоре, нравилось, как зачесывает волосы назад и приглаживает их — вылитый индеец из книжек о чокто и криках: мы их проходили в школе; нравилось, когда он разрешал посидеть у него на коленях и порулить трактором, нравилось, как он ест — спокойно, быстро и аккуратно, нравилось, как он рассказывал мне истории на ночь. Когда мне было девять, Папа был идеален во всём.

«А ведешь себя так, будто обязательно».

Вместо ответа я проглотил кусочек. Картошка была пересолена и порезана крупными кусками, майонеза и кетчупа было маловато, поэтому я не сразу смог её проглотить.

«Еще и чавкает», — сказала Леони. Она бросила окурок в банку и швырнула мне ее, сказав лишь «Ну-ка, выкинь». Из кухни она пошла в гостиную и подняла одну из бейсболок Майкла, которую он забыл на диване. Нацепив её, Леони заявила:

«Я вернусь».

С сэндвичем в руках я рванул за ней. Дверь захлопнулась, а я попытался пройти. *Ты оставишь меня здесь совсем одного?* — хотел я спросить у неё, но сэндвич стоял комом в горле: ему не давала пройти паника, извергающаяся из желудка; я никогда ещё не оставался дома один.

«Мама и Папа скоро вернутся», сказала она, хлопнув дверь машины. У нее был низкий бордовый Шевроле Малибу, его ей купили Папа и Мама на окончание школы. Леони съехала с подъездной дорожки и высунула руку в окно — то ли навстречу ветерку, то ли чтобы помахать мне — я так и не понял зачем, и она уехала.

Меня немного пугала мысль, что я в этом слишком-тихом доме совсем один, — и я на минутку присел на крыльцо, но вдруг услышал, что кто-то поёт, поёт плохо и пискляво, поёт одно и то же снова и снова. «О Стаг-о-ли, почему же ты не здесь?» Это был Стаг, старший брат Папы, в руках у него была длинная

трость. На нём была засаленная и задубевшая одежда, и он размахивал тростью, будто топором. Каждый раз при встрече с ним я не мог ни разобрать ни слова из того бреда, что он нёс; как будто он иностранец, хотя я знал, что он говорит по-английски: он каждый день прогуливался по всему Буа-Соваж и пел, размахивая тростью. Ходил, не сутулясь, как Папа, гордый, как Папа. Такой же нос, как у Папы. Но все остальное в нём было другое — будто Папу выжали, как мокрую тряпку, а потом он высох и как-то странно изменился. В этом был весь Стаг. Однажды я спросил Маму, что с ним не так, почему он всегда воняет, как свинья, а она нахмурилась и ответила: *Он больной на всю голову, Джоджо.* И добавила: *Не задавай Папе лишних вопросов о нём.*

Перевод Светланы Вожовой, магистра специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (vojova@gmail.com)

Джесмин Уорд. Пойте, непогребенные, пойте

Пахло пережаренной печенью. Несмотря на то, что папа сначала смазал сковороду свиным жиром, этот тяжелый запах застоялся у меня в горле. Когда папа кладет печень на тарелку, она пахнет, а подлива, которую он готовит, чтобы ее смазать, обретает форму сердца вокруг мяса. Мне всегда было интересно, делает ли папа это специально. Я нес тарелку к дверям в комнату мамы, но она все еще спит, поэтому я возвращаю еду обратно в кухню, где папа накрывает ее бумажным полотенцем, чтобы не остыла. Затем наблюдаю, как он нарезает мясо, посыпает приправами, добавляет и чеснок, и сельдерей, и болгарский перец, и лук, от которого глаза щиплет. Затем ставит все это вариться.

Были бы мама и папа здесь в тот день, когда Леони и Майкл ругались, они бы это остановили. Папа сказал бы, что мальчику не нужно этого видеть. «Или вы хотите, чтобы ваш ребенок думал, что вы так относитесь к другим людям?», — сказала бы мама. Но их тогда не было. Не часто я могу такое сказать. Их тогда не было, потому что у мамы обнаружили рак, поэтому папа туда-обратно водил ее к врачу. На моей памяти это был первый раз, когда они поручили Леони присмотреть за мной. После того, как Майкл ушел с Большим Джозефом, я чувствовал себя странно, сидя за столом напротив Лиони и делая сэндвич с жареной картошкой, пока она смотрела вдаль, и, скрестив ноги, била одной о другую. Дым сигареты просачивался сквозь ее губы и окутывал голову, словно вуалью, хоть мама и папа ненавидели, когда она курила в доме. Это чувство, когда ты наедине с ней. Она струсила пепел с сигареты и выбросила ее в пустую, выпитую ею банку из-под Кока-колы, и когда я укусил сэндвич, сказала: «Это омерзительно».

Она вытерла слезы после ссоры с Майклом, но я все еще мог видеть их высохшие следы на ее лице.

— Папа их так ест.

— Ты будешь все повторять за папой?

Я покачал головой, потому как мне казалось, что Леони от меня этого ожидала. Но мне нравилось многое из того, что делал папа. Мне нравилось, как он стоял, когда говорил, как зачесывал назад волосы, а потом их приглаживал и выглядел словно индеец из племени Чокто или Крики, о которых мы читали в школьных книгах. Мне нравилось, сидеть у него на коленях и управлять его трактором. Мне даже нравилось, как он ел: быстро, но аккуратно. Мне нравились истории, которые он мне рассказывал перед сном. Когда мне было девять, папа умел все.

— «Да ты ведешь себя как он». Ничего не ответив, я с трудом проглотил откушенный кусок. Картошка была очень соленой и крупной, а слой кетчупа и майонеза довольно тонким, поэтому картошка плохо проходила в горле. «Даже это звучит мерзко», — сказала Леони. Она бросила свою сигарету в банку, и подвинула ее в сторону, где я стоял и ел. — «Выбрось это».

Она вышла из кухни в гостиную и подняла одну из бейсбольных кепок Майкла, которую он оставил на диване. Натянув ее на голову, она сказала: «Я сейчас вернусь».

Я поспешил за ней с сэндвичем в руке. Дверь захлопнулась, но мне удалось протолкнуться. «Ты оставишь меня здесь совсем одного?» — хотел спросить я, но сэндвич стоял комом в горле, который посеял панику, бурлящую в моем животе; я раньше никогда не оставался дома один.

«Мама и папа скоро вернутся», — сказала она, закрыв дверь своей машины. Она ездила за рулем низкого Шевроле Малибу темно-бордового цвета, который мама и папа подарили ей после окончания школы. Леони выехала на проезжую часть, высунув одну руку из окна, словно пытаясь поймать воздух или волну, точно не могу сказать, и затем скрылась из виду.

Меня пугало находиться одному в слишком тихом доме, поэтому я на минуту присел на крыльцо, но потом услышал, как высоким, фальшивым голосом поет какой-то мужчина. Снова и снова он напевал одни и те же слова. «О Стаг-о-Ли, почему же ты не настоящий?». Это был Стаг, старший брат папы, с длинной тростью в руке. Его одежда казалась тяжелой и маслянистой. Он размахивал своей тростью словно топором. Когда я его видел, вечно было сложно понять, что он бормотал; он будто говорил на иностранном языке, хотя я знал, что он говорит по-английски: каждый день он ходил по Бо Соваж напевая и размахивая тростью. Ходил, ровно держа спину как папа, гордый как папа. У него был такой же нос, как и у папы. Но во всем остальном он отличался. Словно папа был выжат как влажная тряпка, которая высохла и приняла неправильную форму. Это и был Стаг. Я однажды спросил у мамы, что с ним происходит, почему он всегда пахнет броненосцем, а она хмурила лицо и говорила: «Он больной на голову, Джоджо: не стоит спрашивать у папы об этом».

Перевод Дениса Ершова, магистра специальности «Теория перевода и межкультурная коммуникация» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (ershov_den@mail.ru)

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОНКУРСА «ОТРАЖЕНИЯ» (2016, 2017)

Hugh Walpole. The Dark Forest. Chapter III. The Forest

And now I am confronted with a very serious difficulty. There is nothing stranger in this whole business of the life and character of war than the fashion in which an atmosphere that has been of the intensest character can, by the mere advance or retreat of a pace or two, disappear, close in upon itself, present the blindest front to the soul that has, a moment before, penetrated it. It is as though one had visited a house for the first time. The interior is of the most absorbing and unique interest. There are revealed in it beauties, terrors, of so sharp a reality that one believes that one's life is changed for ever by the sight of them. One passes the door, closes it behind one, steps into the outer world, looks back, and there is only before one's view a thick cold wall—the windows are dead, there is no sound, only bland, dull, expressionless space. Moreover this dull wall, almost instantly, persuades one of the incredibility of what one has seen. There were no beauties, there were no terrors.... Ordinary life closes round one, trivial things reassume their old importance, one disbelieves in fantastic dreams.

I believe that every one who has had experience of war will admit the truth of this. I had myself already known something of the kind and had wondered at the fashion in which the crossing of a mere verst or two can bring the old life about one. I had known it during the battle of S——, in the days that followed the battle, in moments of the Retreat, when for half an hour we would suddenly be laughing and careless as though we were in Petrograd.

And so when I look back to the weeks of whose history I wish now to give a truthful account, I am afraid of myself. I wish to give nothing more than the facts, and yet that something that is *more* than the facts is of the first, and indeed the only, importance. Moreover the last impression that I wish to convey is that war is a *hysterical* business. I believe that that succession of days in the forest of S——, the experience of Nikitin, Semyonov, Andrey Vassilievitch, Trenchard and myself—might have occurred to any one, must have occurred to many other persons, but from the cool safe foundation on which now I stand it cannot but seem exceptional, even exaggerated. Exaggerated, in very truth, I know that it is not. And yet this life—so ordered, so disciplined, so rational, and THAT life—where do they join?... I penetrated but a little way; my friends penetrated into the very heart ... and, because I was left outside, I remain the only possible recorder: but a recorder who can offer only signs, moments, glimpses through a closing door....

Хью Уолпол. Тёмный лес

И вот я оказался лицом к лицу с весьма серьёзными препятствиями. Война, как и сама жизнь, наделена поистине удивительным свойством легко сводить на нет, попросту уничтожать даже крайнюю напряжённость в атмосфере и вырывать из неё человека, который только-только проникся ею. Примерно такие же чувства испытываешь, когда оказываешься в незнакомом

доме. Всё внимание на себя перетягивает внутреннее убранство. В нём настолько чётко отражаются красота и ужасы, что ты начинаешь думать, будто мгновение, когда ты их увидел, навсегда изменит всю твою жизнь. А затем ты выходишь из дома, закрываешь двери, делаешь шаг во внешний мир, оглядываешься — и видишь лишь широкую, холодную стену отчуждения. Окна дома пусты, вокруг ни звука — лишь пресное, потускневшее пространство без единого признака жизни. Более того, эта нагнетающая уныние стена будто бы становится молчаливым свидетельством всей нереальности того, что ты, казалось бы, видел собственными глазами. Но и красота, и ужасы оказались всего лишь миражом... Заботы обычной жизни замыкают тебя в кольцо, привычные вещи обретают былую значимость, а вера в удивительное постепенно рассеивается.

Я убеждён, что каждый, кто хоть раз сталкивался с войной, подтвердит мои слова. Я и сам кое-чего знал об этом и задумывался, каким это образом вся твоя жизнь может измениться от того, что ты переместишься на каких-то пару вёрст. Я знал это и во время битвы при С., и в последовавшие за ней дни; знал и в момент Великого Отступления, когда нам внезапно представилась возможность хоть полчаса побыть беспечными и вдоволь насмеяться, как будто мы и не покидали Петрограда.

И теперь, вспоминая эти недели, события которых мне хочется восстановить как можно более подробно, я начинаю побаиваться сам себя. С одной стороны, я хочу оперировать исключительно фактами, но с другой — есть то, что гораздо важнее любых фактов, то, что имеет истинное значение. И последнее, что я хочу сказать вам: война — это сплошная истерия. Я уверен, что тяготы бесконечной череды дней в лесу С. и события, произошедшие с Никитиным, Семёновым, Андреем Васильевичем, Тренчардом и мной самим, могли бы произойти с абсолютно любым человеком, но когда ты, как я сейчас, находишься в безопасности, события эти кажутся чем-то исключительным, даже утрированным. Но я-то знаю, что они нисколько не преувеличены. И всё же, куда ведёт этот чётко расчерченный, упорядоченный, ровный и знакомый жизненный путь?

Я не особо понимал это, а вот мои друзья узнали сполна. Я же, оказавшись по другую сторону жизни, сделался единственным, кто мог бы описать всё пережитое нами, но прибегая лишь к символам и проблескам мимолётных воспоминаний, которые вот-вот исчезнут за закрытой дверью...

*Перевод Алины Абрамянц, бакалавра специальности «Французская филология»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (nira.wolfdog@mail.ru)*

Хью Уолпол. Лес

И вот я столкнулся с серьезной проблемой. Нет ничего более странного в жизни и войне, чем момент, в который забывается то, что вы чувствовали еще секунду назад. Представьте, что вы посетили дом в первый раз. Обстановка невероятно красива, просто уникальна. Вам открываются настолько реальные красота и ужас, что один их вид, кажется, изменил вашу жизнь навсегда. Вы

выходите из дома, закрываете за собой дверь, оглядываетесь и перед вашими глазами лишь высокая холодная стена — мертвые окна, тишина, безликое, мрачное, невыразительное пространство. Более того, весь унылый вид этой стены почти мгновенно убеждает вас в том, что увиденное вами — ошибка. И не было ни красоты, ни ужасов... Обычная жизнь окружает вас, незначительные мелочи возвращают себе свою прежнюю значимость, человек больше не верит своим видениям.

Уверен, что каждый, кто был на войне, согласится: так оно и есть. Со мной такое уже случалось, и я удивлялся тому, как, лишь преодолев версту-две, возвращаешься к прежней жизни. Я знал это во время битвы при С., и после нее, и во время отступления, когда мы, бывало, долго смеялись и становились беззаботными, словно мы опять в Петрограде.

И сейчас, когда я оглядываюсь на недели, о которых собираюсь составить честный рассказ, то боюсь себя. Я не хочу выходить за пределы фактов, но нечто выше фактов становится главным и в действительности единственно значимым. Более того, в конце концов я хотел бы назвать войну истеричной. Считаю, что в те дни в лесу С. опыт Никитина, Семенова, Андрея Васильевича, Тренчарда и мой собственный мог пережить любой, и, должно быть, это случалось и со многими другими, но на твердой и безопасной почве, на которой сейчас стою я, это не может не показаться исключительным и даже преувеличенным. Я знаю, честное слово, что не преувеличиваю. И все-таки эта жизнь — такая упорядоченная, такая дисциплинированная, такая рациональная и та жизнь — где они соединяются? ... Меня, в отличие от моих друзей, она коснулась лишь слегка ...и вот я остался снаружи незадействованным и поэтому единственным возможным рассказчиком: тем, который может предложить читателю только знаки, моменты и мерцанье сквозь закрывающуюся дверь...

Перевод Марины Гуриенко, студентки 3 курса специальности «Лингвистика. Перевод и переводоведение» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (marinagurr@yandex.ua)

Хью Волпоул. Тёмный лес (Глава III) Лес

И теперь передо мной предстала чрезвычайно серьёзная трудность. Самой странной особенностью всего, чем живёт и дышит война, является то, как вследствие атаки или отступления лишь на шаг-другой даже самая напряженная ситуация может измениться, исчерпать себя, показаться неразрешимой для того, кто буквально секунду назад видел её насквозь. Это можно сравнить с тем, как человек впервые посещает некий дом. Внутреннее убранство в высшей степени восхищает его. Он видит настолько реалистичные красоты и ужасы, что думает, будто после этого зрелища его жизнь уже никогда не станет прежней. Он идёт за порог, закрывает за собой дверь, делает шаг во внешний мир, оборачивается и видит перед собой лишь толстую, холодную стену — окна безжизненны, не слышно ни звука, только пресная, унылая, равнодушная пустота. Более того, эта скучная стена практически сразу

же убеждает человека в неправдоподобности увиденного. Не было никаких красот, не было ужасов... Обыкновенная жизнь одерживает верх, привычные вещи обретают прежнюю важность, человек перестаёт верить во всякие фантастические мечты.

Полагаю, что любой, кто знаком с войной, подтвердит правдивость этих слов. Я сам прошёл через нечто подобное и в своё время размышлял над тем, как переход в одну-две версты может напомнить человеку о прежней жизни. Я столкнулся с этим во время битвы при С., в последующие несколько дней, в часы отступления, когда мы внезапно начинали беззаботно хохотать по полчаса, словно находились в Петрограде.

А теперь, вспоминая недели, пережитые теми, кого я хочу справедливо упомянуть, я прихожу в ужас от самого себя. Я желаю перечислить лишь факты, однако есть нечто *большее*, обладающее первостепенной и действительно единственной важностью. Более того, последнее впечатление, которое я хотел бы оставить, заключается в том, что война есть *истерика*. Я уверен в том, что опыт, который мы с Никитиным, Семёновым, Андреем Васильевичем и Тренчардом пережили за несколько дней в лесу близ С., мог случиться с каждым и наверняка выпал на долю многих людей, однако с точки зрения моих нынешних покоя и безопасности он неизменно кажется особенным, даже выдающимся. Честно говоря, я знаю, что он таковым не является. Тем не менее, где эта жизнь — такая упорядоченная, такая размеренная, такая разумная — сходится с ТОЙ? Я узрел совсем немного; мои друзья узрели самую суть... и, оставшись снаружи, я оказался единственным существующим свидетелем того события: но я могу предложить лишь те символы и мгновения, что промелькнули в проёме закрывающейся двери...

Перевод Виктории Тимошенко, студентки 3 курса специальности «Лингвистика, перевод и переводоведение» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (10.years.ago@mail.ru)

Хью Уолпол. Темный лес. ГЛАВА III. Лес

Лицом к лицу я столкнулся с необъяснимым явлением. Нет ничего более странного в сочетании мира и войны, чем существующая реальность, в которой и без того напряженная жизнь может каким-то образом исчезнуть, измениться, обособиться от того, что уже повлияло на нее. Так человек впервые попадает в какой-то дом. Его обстановка сама по себе удивительна и неповторима. Присущие месту красота и ужас проявлены настолько остро, что жизненные убеждения человека меняются навсегда. Он переступает порог, закрывает за собой дверь, оказывается снаружи и, пока никто не видит, оглядывается назад, а там — прочная, холодная стена: окна наглухо заперты, вокруг тишина, и это место кажется пустынным, тусклым, нелюдимым. Более того, эта глухая преграда почти мгновенно убеждает в невероятности существовавшего. Нет, не было ничего: ни красоты, ни ужаса. Возвращается привычная жизнь, простые вещи принимают свое обыденное значение, а то, что было, ставится под сомнение.

Наверное, каждый, кто был на войне, не отрицает этого. Я уже догадывался о чем-то подобном и даже задавался вопросом, как при стечении определенных обстоятельств мы все равно остаемся сами собой, как ни в чем не бывало. Я почувствовал это во время битвы при С*, и после нее, и в ходе отступления, когда мы вдруг начинали смеяться от души, словно опять были в своем Петрограде.

И поэтому, когда я вспоминаю те дни, то хочу быть откровенен перед собой, я напуган. Не скрываю того, что имеет значение. Таково мое последнее впечатление: война — это надрыв. Полагаю, что та вереница дней в лесу у С*, события, приключившиеся с Никитиным, Семеновым, Андреем Васильевичем, Тренчарда и мной, конечно, могли случиться с любым, но обдумав все, без всякого преувеличения могу сказать, что это все же было. По правде говоря, я так и знал. И, тем не менее, я задаюсь вопросом: ЭТА жизнь, столь последовательная, правильная, логичная, и ТА жизнь — как они сочетаются? ... Я изменился, но немного; мои друзья изменились в сердцах, и, оставшись снаружи, я теперь являюсь единственным возможным очевидцем: но очевидцем, который в состоянии передать только знаки, мгновения, мимолетные впечатления сквозь закрывающуюся дверь ...

Перевод Евгении Тюриной, студентки 3 курса специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский язык) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина» (sologgg@yandex.ru)

ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО



Heinrich Heine. Lorelei

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

Генрих Гейне. Лорелей

Не знаю, что стало со мною,
Тоскою я удручен,
Давно не дает мне покою
Сказанье давних времен.

Прохладой сумерки веют,
Спокоен Рейна простор;
В вечерних лучах пламенеют
Вершины дальних гор.

Над страшною высотой
Дева чудной красоты
Одеждой горит золотою,
Сияет златом косы.

В руках злат гребень сверкает,
Кудри им чешет она,
Песня из уст выплывает
Сладости, чуда полна.

Пловца в его лодочке малой
Дикая страсть полонит,
Не видя подводные скалы,
Только наверх глядит.

Сомкнутся быстрые волны,
Исчезнет пловец средь зыбей,
Это пеньем своим невольно
Сделала Лорелей.

*Перевод Яны Севериной, студентки
I курса специальности «Фундаментальная
и прикладная лингвистика» факультета
иностранных языков Донецкого
национального университета
(puchoviy@yandex.ua)*

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР

Из материалов школьного конкурса художественного перевода

«Мои первые переводы» (2017, 2018)

Из материалов конкурса художественного перевода «Отражения» (2017)

Rudi Strahl. Ich male

Ich mal` mit Tusche Katz und Hund
wie ich sie gerne hätt`:
die Katze gelb und kugelrund,
den Hund gestreift und kunterbunt
und beide sehr, sehr nett.

Sie spielen Hasch mit einer Maus –
die mal` ich grün kariert;
so sieht auch sie sehr lustig aus
und springt vergnügt ums lila Haus,
vor dem das Spiel passiert.

Nun ist noch für die Sonne Platz,
sonst bleibt der Himmel grau;
doch alles Gelb im Farbenschatz
verbrauchte ich schon für die Katz –
drum, Sonne, wirst du blau!

Руди Штраль. Я рисую

Я рисую тушью кошку.
Желтая она немножко,
Круглая, как колобок –
Желтый, мягонький комок.

И щеночка — он в полоску,
Будто в пёстренькой матроске.
Все, как я люблю — поярче!
Милые — сейчас заплачу!

Вот зелёненький мышонок –
Он — как спичек коробчонок.
В клетку шёрстка, в клетку лапки
Потерял в игре он шапку
Пока бегал вокруг дома
Цвета, как сирень — лиловый.

Место есть для солнца сферы,
Не оставлю небо серым.

Только стыдно мне немножко —
Желтый весь ушел на кошку.
Солнце, будешь ты, как в сказке —
Теплой, ярко-синей краской!

Перевод Софии Твердоступ, ученицы 6 класса школы № 19 г. Донецк (elit.net@mail.ru)

Руди Штраль. Я рисую

Я красками рисую котенка и щенка.
Таких иметь хотел бы и я наверняка:
Котенок желтый, круглый, щеночек полосат.
Зверушки на картинке любого умилят.

Для них — лиловый домик, они могли б там жить,
Еще кого-то надо для них изобразить.
Рисую рядом мышку, зеленый в клетку бок,
И с ней играют вместе котенок и щенок.

Без солнца небо серо, уныло все вокруг,
А краски не хватает на желтый солнца круг.
Но это не проблема, не буду унывать,
Ведь можно солнце синим всегда нарисовать.

*Перевод Александра Коренева, ученика гимназии № 122 г. Донецка
(aakorenev42@gmail.com)*

Руди Штраль. Я рисую

Нарисовал однажды я
Собаку и кота.
Кот рыжий, пёс в полоску —
Умора, красота!

Они играют с мышью,
Что в клетку, зелена,
Перед лиловым домом
Забавна, весела.

А в небе светит солнце —
Всегда так быть должно,
Но нету жёлтой краски...
Пусть синее оно!

*Перевод Полины Трюхан, ученицы 10-А класса школы № 19 г. Донецка
(polina2001099@gmail.com)*

Hans Magnus Enzenberger

Ins Lesebuch für die Oberschule
Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne:
sie sind genauer. Roll die Seekarten auf,
eh es zu spät ist. Sei wachsam, sing nicht.
Der Tag kommt, wo sie wieder Listen ans Tor
schlagen und malen den Neinsagern auf die Brust
Zinken. Lern unerkant gehen, lern mehr als ich:
das Viertel wechseln, den Paß, das Gesicht.
Versteh dich auf den kleinen Verrat,
die tägliche schmutzige Rettung. Nützlich
sind die Enzykliken zum Feueranzünden,
die Manifeste: Butter einzuwickeln und Salz
für die Wehrlosen. Wut und Geduld sind nötig,
in die Lungen der Macht zu blasen
den feinen tödlichen Staub, gemahlen
von denen, die viel gelernt haben,
die genau sind, von dir.

Ханс Магнус Энценсбергер

По книге для чтения для высшей ступени
Не читай оды, мой сын, читай расписания:
точнее они. Карты морей разверни,
слишком поздно не стало пока.
Будь настороже, песен не пой.
День наступает, когда снова списки они к дверям
приколотят, поставив отметины скептикам на грудь.
Учись проходить неопознанным, учись больше, чем я:
кварталы меняй, свой паспорт, лицо.
Понимай небольшое предательство,
ежедневное грязное спасение. Полезны
энциклики, чтобы зажечь огонь,
манифесты: обертывать масло и соль
для незащитных. Гнев и терпение необходимы,
чтобы дуть в легкие власти
смертельную тонкую пыль, смолотую
из тех, кто научился многому,
кто точен, учась у тебя.

*Перевод Полины Трюхан, ученицы 11-А класса школы № 19 г. Донецка
(polina_tryuhan@mail.ru)*

Marie von Ebner-Eschenbach. Die Spitzin. Erzählung (1901)

Zigeuner waren gekommen und hatten ihr Lager beim Kirchhof außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Die Weiber und Kinder trieben sich bettelnd in der Umgebung herum, die Männer verrichteten allerlei Flickarbeit an Ketten und Kesseln und bekamen die Erlaubnis, so lange da zu bleiben, als sie Beschäftigung finden konnten und einen kleinen Verdienst.

Diese Frist war noch nicht um, eines Sommermorgens aber fand man die Stätte, an der die Zigeuner gehaust hatten, leer. Sie waren fortgezogen in ihren mit zerfetzten Plachen überdeckten, von jämmerlichen Mähren geschleppten Leiterwagen. Von dem Aufbruch der Leute hatte niemand etwas gehört noch gesehen; er mußte des Nachts in aller Stille stattgefunden haben.

Die Bäuerinnen zählten ihr Geflügel, die Bauern hielten Umschau in den Scheunen und den Ställen. Jeder meinte, die Landstreicher hätten sich etwas von seinem Gute angeeignet und dann die Flucht ergriffen. Bald aber zeigte sich, daß die Verdächtigen nicht nur nichts entwendet, sondern sogar etwas dagelassen hatten. Im hohen Grase neben der Kirchhofmauer lag ein splitter nacktes Knäblein und schlief. Es konnte kaum zwei Jahre alt sein und hatte eine sehr weiße Haut und spärliche hellblonde Haare. Die Witwe Wagner, die es entdeckte, als sie auf ihren Rübenacker ging, sagte gleich, das sei ein Kind, das die Zigeuner, Gott weiß wann, Gott weiß wo, gestohlen und jetzt weggelegt hatten, weil es elend und erbärmlich war und ihnen niemals nützlich werden konnte.

Sie hob das Bübchen vom Boden auf, drehte und wendete es und erklärte, es müsse gewiß irgendwo ein Merkmal haben, an dem seine Eltern, die ohne Zweifel in Qual und Herzensangst nach ihm suchten, es erkennen würden, «wenn man das Merkmal in die Zeitung setze». Doch ließ sich kein besonderes Merkmal entdecken und auch später, trotz aller Nachforschungen, Anzeigen und Kundmachungen, weder von den Zigeunern noch von der Herkunft des Kindes eine Spur finden.

Мария фон Эбнер-Эшенбах. Шпиц. Рассказ (1901)

Цыгане приехали и разбили свой лагерь при церковном кладбище за деревней. Бабы с детьми, попрошайничая, слонялись по окрестности, мужчины производили всевозможную починку цепей и котлов и получили разрешение оставаться там до тех пор, пока они не смогут найти себе дело и небольшой заработок.

Не прошёл ещё этот срок, как одним летним утром место, где обитали цыгане, обнаружили пустым. Они уехали на своих укрытых изорванным в клочья брезентом кибитках, которые тащили жалкие клячи. Никто ничего не слышал и не видел ухода людей; должно быть, это случилось ночью, незаметно.

Крестьянки подсчитывали домашнюю птицу, крестьяне осматривали амбары и хлева. Каждый думал, что бродяги присвоили что-нибудь из его имущества и тогда бросились в бегство. Но вскоре обнаружилось, что подозреваемые не только ничего не украли, а даже кое-что оставили. В высокой траве рядом с каменной стеной церковного кладбища лежал в чём мать родила

мальчонка и спал. Ему едва ли было два года; у него была очень белая кожа и редкие белокурые волосы. Вдова Вагнер, которая обнаружила его, когда шла на своё свекольное поле, сразу сказала, что это, должно быть, ребёнок, которого цыгане Бог знает когда и Бог знает где украли и сейчас бросили, потому что он был жалкий и убогий и никогда не мог быть им полезным.

Она подняла мальчишку с земли, покрутила и повертела его и пояснила, что у него непременно где-то должна быть примета, по которой родители, без сомнения, в муках и смятении искали бы его и могли бы опознать, «если приметку поместят в газете». Однако никакой особой приметы не удалось обнаружить, и даже позже, несмотря на все расследования, объявления и оповещения, ни о цыганах, ни о происхождении ребёнка не нашлось ни следа.

Перевод Марины Беляковой, студентки 3 курса специальности «Преподавание в начальных классах» ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» (г. Тверь) (marinka.belyakowa2013@yandex.ru)

Мария фон Эбнер-Эшенбах. Шпиц. Рассказ (1901)

Цыгане приехали и разбили свой лагерь у церковного двора за деревней. Женщины и дети просили милостыню по окрестностям, мужчины чинили цепи и котлы и получили разрешение оставаться там до тех пор, пока не смогут найти занятие и небольшой заработок.

Этот срок еще не прошел, но летним утром оказалось, что места, в которых проживали цыгане, опустели. Они уехали в своих покрытых изодраным брезентом телегах, которые тянули жалкие клячи. Про отъезд людей никто ничего не слышал и не видел; он, должно быть, состоялся ночью, в тишине.

Крестьянки пересчитывали домашнюю птицу, крестьяне осматривали амбары и конюшни. Каждый думал, что бродяги присвоили себе что-то из их имущества и потом сбежали. Но вскоре выяснилось, что подозреваемые не только ничего не похитили, но даже что-то там оставили. В высокой траве около стены церковного двора лежал совершенно голый маленький мальчик и спал. Ему могло быть почти два года, у него была белоснежная кожа и редкие белокурые волосы. Его нашла вдова Вагнер, когда шла по полю, засаженному репой. Она сразу же сказала, что, возможно, этого ребенка цыгане бог знает когда, бог знает где украли и сейчас подкинули, потому что он был убогий и жалкий и им больше никогда не пригодится.

Она подняла малыша с земли, повертела его и заявила, что где-то должен быть признак, по которому родители в сомнении и смятении искали и узнали бы его, «если бы напечатали заметку в газете». Этот особый признак не удалось найти ни тогда, ни позже, когда вопреки всем расследованиям, показаниям и объявлениям от цыган и родни ребенка и след простыл.

Перевод Анастасии Грошевой, студентки 2 курса специальности «Педагогика» Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала) Российского государственного профессионально-педагогического университета (grosheva.nastyusha@mail.ru)

Мария фон Эбнер-Эшенбах. Старая собака (1901)

Пришли цыгане и разбили свой лагерь неподалеку от церковного кладбища за пределами деревни. Женщины и дети, попрошайничая, слонялись по округе, мужчины занимались всякого рода мелкой починкой цепей и котлов и получили разрешение остаться до тех пор, пока не найдут себе работу и небольшой заработок.

Этот срок еще не истек, когда одним летним утром жилища, в которых обитали цыгане, обнаружили опустевшими. Они уехали в своих покрытых изорванным брезентом, запряженных жалкими клячами телегах. Никто не видел и не слышал, как это произошло; должно быть, они отправились в путь под покровом ночи.

Деревенские женщины пересчитали домашнюю птицу, мужики проверили амбары с зерном и загоны для скота. У каждого селянина возникла мысль, что бродяги присвоили себе что-то из его добра и сбежали. Однако вскоре выяснилось, что подозреваемые не только ничего не украли, но даже оставили в деревне кое-что свое. В высокой траве, у стены церковного погоста, лежал совершенно голый спящий мальчонка. Ему едва ли исполнилось два года, у него была очень светлая кожа и редкие белокурые волосы. Вдова Вагнер, которая нашла его, когда шла на свое свекольное поле, сразу же заявила, что цыгане украли этого ребенка бог знает где и когда, а теперь подбросили им, потому что он выглядел так жалко и убого, что ни в каком деле не принес бы им никакой пользы.

Она подняла малыша с земли, осмотрела со всех сторон и объяснила, что у него наверняка должна быть какая-нибудь особая примета, по которой его родители, которые, конечно, потеряли сон от беспокойства за него и не прекращают поиски, опознали бы его, если написать об этой примете в газеты. Но ничего особенного в ребенке не нашлось и даже позже, несмотря на все розыски и объявления в газеты, никаких следов ни цыган, ни родителей мальчика не обнаружилось.

Перевод Евгении Дорош, магистра 1 курса специальности «Перевод и переводоведение» Минского государственного лингвистического университета (г. Минск, Беларусь) (JennieSnow@ya.ru)

Olga Grjasnowa. Gott ist nicht schüchtern

Eine Stunde vor Sonnenaufgang nähern sich die Regimetruppen der Stadt. Nidal sitzt auf der Sitzbank des Militärjeeps, das Gewehr aufrecht zwischen den zitternden Knien. Er hat den Helm tief ins Gesicht geschoben. Die Gewehrläufe glänzen in der Sonne. Der Fahrer trommelt nervös mit seinen langen Fingern aufs Lenkrad. Die beiden anderen überprüfen noch einmal ihre Brownings.

Nidals Einheit wurde nach Deir az-Zour im Osten Syriens nahe der irakischen Grenze verlegt. In Damaskus hat man ihnen erklärt, sie würden gegen Terroristen kämpfen, doch vor Ort sieht es ganz anders aus, der ausdrückliche Befehl lautet, keine Bärtigen anzugreifen und sich ausschließlich auf die Freie Syrische Armee zu konzentrieren. Zu dieser sind bereits mehrere von Nidals Kameraden übergelaufen,

doch Nidal selbst kann sich nicht dazu entschließen. Er will nicht zur Freien Armee. Er will nicht zu den Islamisten. Er will überhaupt nicht kämpfen, aber er hat keine Wahl.

Die Panzer, die vorausfahren, zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt: die Verkehrszeichen und die Straßenlaternen, die Schaufenster und die Häuser, die Denkmäler, die Schulen und die Bibliotheken, selbst der Straßenbelag wird von ihnen abgetragen. Die Armee nähert sich der Stadt gleichzeitig aus drei Richtungen und riegelt die Straßen ab. Nidal betrachtet den schmalen orangefarbenen Streifen am Horizont.

Dann fängt das Töten an. Die Scharfschützen des Regimes verteilen sich auf den Dächern und schießen auf alles, selbst auf Katzen. Menschen versuchen in Pantoffeln dem Tod davonzurennen. Innerhalb weniger Minuten sind die Straßen übersät mit Verwundeten und Toten. Manche schreien verzweifelt »Gott ist groß«. Was für eine Lüge, denkt Nidal. Er sieht in die Gesichter der verängstigten Menschen und hat selbst Angst.

Über Funk bekommt seine Einheit den Auftrag, auszusteigen und sich am Eingang zum Zentrum mit den anderen Einheiten zu versammeln. Das Auto hält an, die Soldaten springen heraus und stellen sich in einer Reihe an einer Hauswand auf, nehmen Haltung an. Im Laufschrift eilen sie nun von Haus zu Haus, treten Türen ein, verwüsten Wohnungen und nehmen die Männer gefangen. Sie zerren sie hinaus auf die Straße, stellen sie in einer Reihe auf und erschießen sie. Die Scharfschützen geben Deckung. Nidal hat Angst davor, getötet zu werden und selbst zu töten. Er kann den eigenen Sinneseindrücken nicht mehr vertrauen und versucht, alles auszusperren.

Als sie in einem ärmlichen Wohnzimmer vor einer Mutter und ihren beiden Töchtern stehen, ändert Nidals Kommandant, ein großgewachsener Mann mit Aknenarben, spontan seine Strategie. Die Mutter weint und schreit und beteuert, dass ihre Söhne längst im Libanon seien und ihr Ehemann, Gott sei seiner Seele gnädig, schon vor einem Jahrzehnt verstorben sei. Der Kommandant zerrt eine der Töchter von ihrer Mutter weg, stößt sie ins Schlafzimmer hinein und wirft sie unsanft aufs Bett. Die Mutter beschimpft er als Hure und schubst sie gegen die Wand. Dann befiehlt er dem Soldaten, der neben Nidal steht, das Mädchen zu vergewaltigen. Sie ist keine vierzehn und so schmal, dass Nidal glaubt, durch sie hindurchsehen zu können. Auch der Soldat sieht wie ein verängstigtes Kind aus. Er ist nur ein paar Jahre älter als das Mädchen. Nun dreht er seinen Kopf langsam zu seinem Vorgesetzten, und in seinen Augen liegt vielleicht noch mehr Entsetzen als in den grauen Augen des Mädchens. Er sagt nichts, schüttelt lediglich den Kopf. Der Kommandant zielt, ebenfalls schweigend, mit seiner Pistole auf den Jungen und drückt ab. Das Mädchen schreit. Auf ihrem Kleid sind Blutspritzer. Der Kommandant nickt nun Nidal zu, von seinem Nacken rinnt der Schweiß herab auf seinen Rücken. Er weiß nicht, ob er bereit ist zu sterben. Er weiß nicht, was er gleich tun wird und wozu er fähig ist. In diesem Augenblick bekommt der Kommandant über Funk den Befehl, seine Einheit zurückzuziehen. Nidal traut sich zum ersten Mal seit einer halben Stunde, richtig Luft zu holen. Als er das Zimmer verlässt, dreht er sich nicht

nach dem Körper seines Kameraden um. Das Schluchzen des Mädchens klingt lange in seinen Ohren nach.

Ольга Грязнова. Бог не особенно скромн (фрагмент)

На рассвете правительственные войска подходят к городу. Нидадь сидит в армейском джипе, зажав винтовку между подрагивающих колен. Его лицо прикрито каской. Стволы винтовок блестят на солнце. Шофер нервно барабанит длинными пальцами по баранке. Двое других еще раз проверяют свои «браунинги»⁸.

Подразделение Нидаля было передислоцировано в Дейр-эз-Зор на восток Сирии, недалеко от иракской границы. В Дамаске объявили, что им предстоит воевать с террористами, однако на месте все оказалось иначе: особое распоряжение гласило не атаковать «бородатых» и полностью сконцентрироваться на Свободной сирийской армии. Некоторые товарищи Нидаля уже перешли на ту сторону, но сам Нидадь не может на такое пойти. Он не хочет быть частью Свободной армии. Не хочет быть исламистом. Он вовсе не хочет сражаться, но выбора у него нет.

Идущие первыми танки уничтожают все на своем пути: дорожные знаки и уличные фонари, витрины и дома, памятники, школы и библиотеки, и даже дорожное покрытие разрушается под ними. Армия одновременно окружает город с трех направлений и перекрывает пути отступления. Нидадь пристально всматривается в тоненькую оранжевую полосу на горизонте.

После чего начинается смертоубийство. Снайперы правительства рассредоточены по крышам, они стреляют во все, даже в кошек. Люди пытаются убежать от смерти в комнатных тапочках. За считанные минуты улицы усеяны ранеными и мертвыми. Кто-то кричит в отчаянии: «Аллаху Акбар!». Неправда, думает Нидадь. Он смотрит на лица перепуганных людей, и ему самому страшно.

Его подразделение получает по рации приказ высадиться и собраться у входа в центр вместе с другими. Машина останавливается, солдаты выскакивают из нее, строятся в шеренгу возле стены какого-то дома и замирают по стойке «смирно». Они движутся перебежками от дома к дому, выбивают двери ногами, опустошают дома и захватывают в плен мужчин. Их тащат на улицу, выстраивают в линию и расстреливают. Снайперы обеспечивают прикрытие. Нидадь боится быть убитым и убивать сам. Он больше не может доверять собственным ощущениям и пытается их в себе подавить.

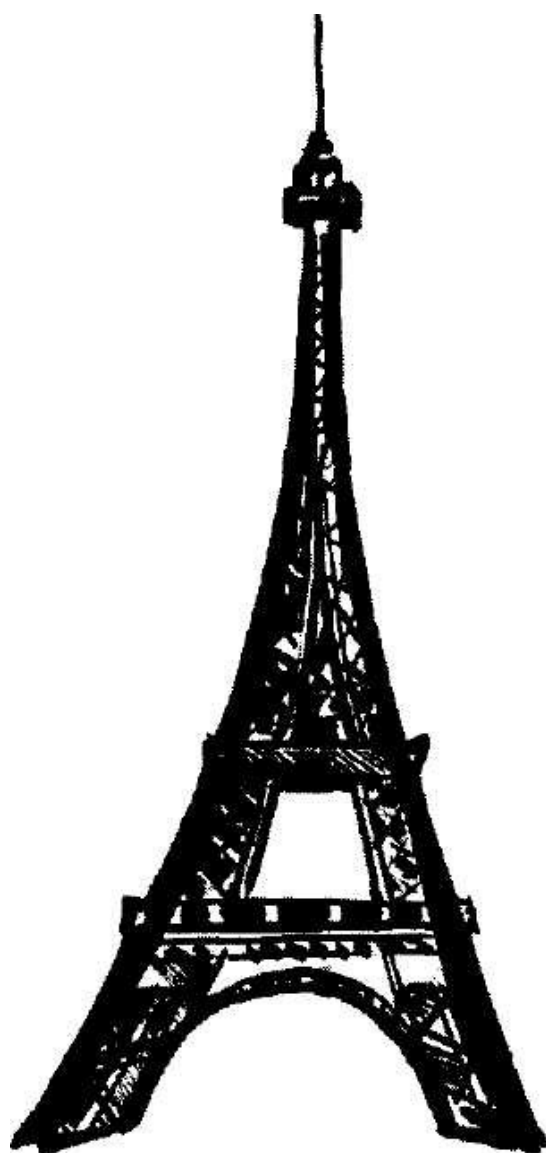
Как-то раз стоят они перед матерью и двумя ее дочками в убогой комнатухе, и командир Нидаля, здоровяк со шрамами от угрей на лице, вдруг резко меняет линию поведения. Мать рыдает во весь голос и твердит, что ее сыновья уже давно в Ливане и что ее муж, да упокоит Аллах его душу, умер

⁸ Общее обиходное название различных пистолетов конструкции Джона Мозеса Браунинга (*Прим. перев.*).

десять лет назад. Командир оттаскивает одну из дочерей прочь от матери, заталкивает её в спальню и грубо швыряет на кровать. Он оскорбляет мать последними словами, как шлюху, и отталкивает к стене. А потом отдает приказ солдату, стоящему рядом с Нидалем, изнасиловать девушку. Ей нет и четырнадцати, и она такая худая, что кажется Нидалю прозрачной. Солдат производит впечатление напуганного ребенка. Он всего лишь несколькими годами старше ее. Теперь он медленно оборачивается на своего командира, и, пожалуй, в его глазах еще больший ужас, чем в серых глазах девушки. Он ничего не говорит, просто качает головой. Командир также молча наводит на юношу пистолет и спускает курок. Девушка кричит. Ее платье в брызгах крови. Теперь командир делает знак Нидалю, у которого с шеи по спине стекает струйка холодного пота. Он не знает, готов ли умереть. Не знает, что будет делать сейчас и на что способен. В этот самый момент командир получает по рации приказ вывести подразделение. Впервые за полчаса Нидадь осмеливается перевести дух. Уходя из комнаты, он даже не взглянет на тело товарища. Долго еще рыдания девушки раздаются у него в ушах.

Перевод Ирины Лукашовой, магистра специальности «Филология (теория перевода и сопоставительное изучение языков)» факультета иностранных языков Донецкого национального университета (siraphimahome@mail.ru)

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО



ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР

**Из материалов школьного конкурса художественного перевода
«Мои первые переводы» (2017, 2018).**

Из материалов конкурса художественного перевода «Отражения» (2017)

Paul G raldy. Bonjour!

Comme un diable au fond de sa bo te,
le bourgeon s'est tenu cach ...
mais dans sa prison trop  troite
il baille et voudrait respirer.

Il entend des chants, des bruits d'ailes,
il a soif de grand jour et d'air...
il voudrait savoir les nouvelles,
il fait craquer son corset vert.

Puis, d'un geste brusque, il d chire
son habit  troit et trop court
«enfin, se dit-il, je respire,
je vis, je suis libre... bonjour! »

Поль Жеральди. Здравствуйте!

Как черт в табакерке, скрывается почка,
там тесно и грустно, там темная ночка...
Ей выбраться нужно из тесного свода,
почувствовать, что же такое свобода.

Но домик тюремный и мал он, и тесен.
Как хочется воздуха, света и песен.
И громом небесным звучат перемены:
хрустят, раздвигаются старые стены.

Стремилась она в этот мир не напрасно,
одежда ее зелена и прекрасна.
И в шелесте ветра расслышать не трудно:
«Я здесь, я живу, я дышу, мне уютно...
Здравствуйте!»

*Перевод Жанны Кожомы, ученицы 11 класса гимназии № 92 г. Донецка
(zhannka_5@mail.ru, gymnasia92@mail.ru)*

П. Жеральди. Привет!

Как дьявол, в замкнутом пространстве
Был спрятан наш бутон прекрасный.
Но камера тесна, но хочется чуть-чуть
Расправить лепестки и воздуха вздохнуть.

Он слышит взмахи крыльев, песни,
И хочет видеть день чудесный.
И солнца свет, и новое познать...
Скорей, скорей зеленый панцирь разорвать!

И вот разорваны оковы, бутон раскрыт,
И глядя на него, мы видим жизни утверждение.
Он шепчет нам: «Я жив, свободен, я дышу!
Дарю вам красоту, и наслаждение. Привет!»

Перевод Марии Болотовой, ученицы специализированной школы с углубленным изучением иностранных языков № 68 г. Донецка (boloticm@mail.ru shc-68@yandex.ru)

П. Жеральди. Привет!

Бутон, созревший в крохотной темнице,
Дыханье затаив, сирены пенье слушал.
Как чертик в табакерке, вдруг напрягся
И дерзко разорвал свои одежды.
«Живу, дышу, свободен!
Привет, Мир Неизвестный!»

Перевод Екатерины Слепцовой, ученицы 11-А класса школы № 115 г. Донецка (riedelwenthjelm@mail.ru)

Morgan Riet. Inutile

Inutile
de te hausser du col ainsi,
voyons!
Demain,
disparaîtrais-tu du paysage,
tes amis, les arbres,
n'en continueraient pas moins de croître,
et la mer
de se marrer haute et basse, et le ciel
de se consteller au rythme infini de son indifférence.
Moi, je sais juste
que c'est un peu de cette vanité
qui te rend belle
à pleurer
ou rire, énième feuille de papier noircie.

Морган Риэ. Напрасно

Напрасно

Втягивать голову в ворот,
Давай представим!

Завтрашний день

вдруг в одночасье здесь всё исправит.
Ты перестанешь быть частью пейзажа,
твои друзья и деревья –
всё полыхнёт, превратится в сажу
без сожаления.

И море утихнет в смиренной песне, и небо
в своём величии
выстроит ряд бесконечных созвездий в ритме его безразличия.

Я знаю одно: вся наша жизнь
есть суета сует.

А ты,
бессчётный тускнеющий лист,
красив лишь в единстве бед.

*Вольный перевод Нелли Гладких, студентки 3 курса специальности
«Французский язык и литература» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
(nelly_abc@mail.ru)*

Морган Рие. Бесполезно

Тебе нет смысла что-то строить из себя,
смотри!

Исчезнешь завтра,
а друзья, деревья — всё вокруг не прекратит от этого расти.
И море будет свои волны вверх и вниз, резвясь, качать.
И так же звёзды будут в небе холодно сиять.

А я лишь знаю то, что суета сует
тебя красивой делает и в радости, и в горе.
И это всё, что я хотел сказать,
Очередной листок исписан будет вскоре.

*Перевод Маргариты Вафиной, студентки 1 курса специальности
«Востоковедение и африканистика» ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» (г. Екатеринбург) (margo.pita@yandex.ru)*

Jacques Prevert. Pour Faire Le Portrait D'Un Oiseau

Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger ...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter
Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais

mais s'il chante c'est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

Жак Превер. Как нарисовать портрет птицы

Чтобы нарисовать портрет птицы
надо сначала нарисовать клетку
с открытой дверцей
затем нарисовать
что-то милое
что-то простое
что-то прекрасное
что-то полезное
для птицы
затем поместить полотно у дерева
в саду
в роще
или в лесу
спрятаться за деревом
молча
неподвижно
Иногда птица прилетает быстро
но может пройти много-много лет
прежде чем она решится
Не отчаивайтесь
ждите
ждите годы, если нужно
скорость прилета птицы
не имеет никакого отношения
к успеху картины
Когда птица прилетает
если она прилетает
нужно соблюдать глубокую тишину
дождаться, когда птица войдёт в клетку
а когда войдёт
тихо закрыть дверцу кистью
затем
один за другим стереть прутья решётки
осторожно, не касаясь перьев птицы
Затем нарисовать дерево
выбрав лучшую ветку

для птицы
нарисовать еще зелёную листву и свежесть ветра
солнечные лучи
гул зверей, травы в летнем разгаре
а затем дожждаться, пока птица решится запеть
Если птица не поёт
это плохой знак
знак того, что картина не удалась
но если поёт, то это хороший знак
знак того, что вы можете подписать
Тогда легонько вытяните
одно из перьев птицы
и подпишите ваше имя в углу картины

*Перевод Екатерины Хайтул, ученицы 11-Б класса гимназии № 92 г. Донецка
(haytul0595915@mail.ru)*

Жак Превер. Чтобы нарисовать портрет птицы

Вначале нарисуйте клетку
с открытой дверцей,
затем раскрасьте
что-то милое,
простое,
красивое,
нужное
для птицы.
Оставьте там же полотно
напротив дерева,
в саду,
в лесу,
в дикой роще,
и спрячьтесь позади,
и ничего не говоря,
не двигаясь,
вы ждите...
Порою птица прилетает быстро,
а можно и годами ждать
прилёта этой птицы.
Долго ли... коротко ли,
но вам придется ждать.
Ждать годы, если нужно.
И это ожидание
никак не отразится
на результате и на славе

картины вашей.
Как только птица прилетит,
конечно, если прилетит,
глубокой тишины не нарушайте.
Как только это все случится,
скорей возьмите в руку кисть
и нежно в клетке вы её закройте.
Заботливо и, не касаясь перьев,
Одним движением сотрите прутья,
Нарисовав картину дерева
и, выбрав лучшую из всех ветвей
для птицы,
раскрасьте зеленью,
добавьте свежесть ветра,
и блики солнца,
и шум травы под летним зноем.
И пенье птицы ожидайте!
Но если вдруг она не запоёт,
то знайте:
нехороший это знак.
Тогда картина ваша
неудачна.
Вы ласковой рукою
одно перо возьмите птичье.
В углу свое впишите имя.
И вот готово полотно.

*Перевод Александры Левищевой, ученицы 11-Б класса гимназии г. Тореза
(alexandra.levishcheva@gmail.com)*

Джованнинио Гуарески. Письмо (оригинал см. на стр. 130)

Нам дали первый бланк для письма, это был простой листок со множеством инструкций на немецком и несколькими пробелами, которые нужно было заполнить на итальянском. Правая половина листка была предназначена для ответов, и нужно было быть очень внимательным, чтобы не перепутать одну сторону с другой и писать четко, карандашом, над пунктирной строкой, как того требуют международные конвенции, охраняющие гуманитарное право.

Еще нам дали складывающуюся вдвое карточку, заполненную суровыми инструкциями на французском, причем вторая часть этого хитрого почтового механизма, будучи приклеенной должным образом на почтовую посылку, изготовленную согласно нормам, позволила бы указанной посылке отправиться из Италии и совершить путешествие до нашего временного местопребывания.

Капитан Н. сказал мне взволнованно, что речь идет о всего лишь 24 строках, а капитан К. добавил, что если принять во внимание, что нам придется вместить в 24 строки кроме всего остального подробные инструкции касательно посылок, то дело сразу же представится в очень серьезном свете. «Надо будет достичь максимальной краткости», — заключил капитан М.

Мы добросовестно взялись за работу, время от времени обмениваясь между собой результатами наших личных изысканий.

Капитан Н., который желал получить новости о доме и о коммерческих делах, поразмыслив соответствующим образом, выдал первую остроумную формулировку: «Новостимне какдома и проходдел». Это была виртуозность лаконичного стиля, и капитан Н. был заслуженно приравнен к капитану К., который, желая, чтобы супруга положила ему в посылку его суконную униформу и все шерстяное обмундирование, предложил такую ловкость: «Посылмне сукноформ и шерстобмун».

Одоблив это, мы принялись рассматривать самую трудную проблему: объяснить в нескольких словах, как собрать крепкую посылку на 5 кг, используя отправленный с этой целью отрывной талон, избегая при этом вкладывать в посылку карты, лекарства, воспламеняющиеся жидкости, но стараясь вложить туда, например, сигареты, табак, ячменную пасту⁹ и пшеничную муку.

Работа была не быстрой, но обрадовала достойным результатом:

«Укрепите посылку пятькило с ½ талона посланцелью избегая лекаркарты и воспламеняющиеся. Посылте сигартабак, ячменпасту, пшеничмуку...»

Тогда я припомнил колонки коммерческих объявлений с их жаргоном, но удержался от смеха; напротив, я подумал о тех старых страницах с совершенно свежей ностальгией. О, плотные и серые колонки, вы — со странными словами, разрезанными как будто ножницами скупого телеграфиста — рассказывали нам о сорокалетних девственницах, ищущих отношений целью брака; о машинистках, склонных совершенствованию; о приличном временном жилье; о семейных кроватях, жадно ждущих штатных служащих¹⁰; о манящих меблированных комнатах с обогревателями в ванной для административных работников¹¹. О, серые колонки, вы нам рассказывали об автомобилях по очень выгодным ценам, готовых плавно скользить по асфальту вокруг голубых озер; о револьверных токарных станках с волнением ожидаемых в шумных цехах; вы рассказывали об очень порядочных агентствах; об очень выгодных делах, о честных пенсионерах, о предложениях работы. И я, вспоминая о вас из этого огражденного места, после того как столько времени улыбался, читая ваши странные слова, испытываю легкую ностальгию.

⁹ Ячменная паста — итальянская еда в виде густого пюре, приготовленная на основе ячменной муки, с различными добавками (*Прим. перев.*)

¹⁰ Штатные служащие — состоящие в штате, имеющие постоянную, не временную работу (*Прим. перев.*)

¹¹ Административные работники — служащие государственных учреждений, не входящих в сферу центральных и местных органов власти (*Прим. перев.*)

О, серые страницы, экстравагантная литература по десять лир за строку, сейчас нахожу, что у вас была своя поэзия. Поэзия полная трепета, мощного ритма: поэзия труда, ритм жизни.

Слушая странные слова, сочиненные для нашего письма, я снова подумал о серой странице коммерческих объявлений и о ритме, который теперь прерван. Сегодня я думаю о совершенно белой странице, до жалости пустой, с единственным объявлением на пять миллиметров, размещенным внизу, маленьким объявлением из всего одной строки безумной и безнадежной: «Мальчик ищет каждый вечер своего папу он далеко».

«Укрепи посылку пятькило с ½ талона посланцелью...»

Я вспомнил о странных словах на последней странице *Corriere* тех далеких времен, а также о машинистке, о семейной кровати и об обогревателе в ванной. Но мне было не смешно, и я сказал, что для меня формулировка подходит и что я тоже ее одобряю. Затем я ушел с собрания и стал заполнять малюсенькими буквами свои двадцать четыре строки. Писал я карандашом над пунктирной линией, как того требуют международные конвенции, охраняющие гуманитарное право:

«Синьора, укрепи посылку пятькило с ½ талона посланцелью избегая лекаркарты и воспламеняющиеся. Посылмне шерстобмун, сигартабак и сухих каштанов. Если же считаешь, что хорошо поджаренные каштаны будут полезны ребенку, не посылай их. У меня все есть. Прошу тебя лишь об одном: чтобы вечером накануне Рождества ты накрыла стол как можно более празднично. Открой забитый гвоздями ящик с посудой и другой, в котором хрусталь; подбери самую красивую скатерть, ту новую, всю в вышитых узорах; зажги все лампы. И приготовь большую Рождественскую елку со множеством свечей, и приготовь аккуратно вертеп¹² у окна, как в прошлом году.

«Синьора, мне нужно, чтобы ты это сделала. Каждую ночь я мысленно переносусь за колючее ограждение: я знаю, тебе трудно представить мои мысли, которые переносятся через колючий забор. Мысль — это ничтожное дуновение, она не имеет лица: итак, представь себе, что я сам каждую ночь выхожу за ограждение. Представь себе Джованнино легкого как мечта и прозрачного как ветер ясных и морозных зимних ночей.

«Я каждую ночь пользуюсь временем, когда другие спят, вверяю себя воздушному царству и быстро пролетаю бескрайнее молчание чужих земель и незнакомых городов. Подо мной все темно и печально, а я, запыхаясь, лечу в поисках света и покоя. Снова вижу Мадонну на шпиле собора, но улицы и площади уже не те, что были когда-то, и с трудом нахожу наш пятый этаж.

«Синьора, не говори, что я обычный храбрец, который входит в дом через крышу: наоборот, похвали мою осторожность, что не подвергаю себя риску среди обломков лестницы. И потом, так как крыша открыта, это делается быстрее. Узнаю остов наших комнат и отыскиваю наши воспоминания, скрытые под развалинами обрушенных стен. Также и здесь все темно, холодно

¹² Вертеп – аллегорическое уменьшенное или миниатюрное изображение евангельской сцены Рождества Христова (Прим. перев.)

и печально, и только если луна мне помогает, мне удастся обнаружить на обрывках обоев, которые еще свисают со стен, четкие квадратные очертания и конфигурацию нашей мебели.

«По пустынным улицам шагает только страх в облачении луны. На обрывке обоев бывшей прихожей вижу цветочек. Странный черный цветок с пятью лепестками. Синьора, вспомни, когда Альбертино разукрасил наши комнаты своей шаловливой ручонкой, вымазанной в чернила? Бесполезно пытаюсь отыскать следы радостных дней среди стен кабинета; стен больше нет, а большое здание — это темное нагромождение почерневшего от дыма бетона.

«Бегу из темного молчаливого города, и снова вижу места, где ты, девственница, познала меня, девственника. Но здесь тоже жалкая меланхолия, и я укрываюсь наконец в домишке, где беспорядочно громоздятся мои последние и мои первые вещи. Ты спишь, Альбертино спит, моя мать, мой отец спят.

«Все спят и стараются, возможно, отыскать во снах мое неизвестное далекое убежище. Наша мебель свалена в беспорядке в маленьких комнатах, погруженных в тень, а в пыльных ящиках на чердаке заledenели слова моих книг.

«Синьора, я ищу немного света, немного тепла и покоя, однако нахожу только темноту и холод, и я не могу узнать в темноте лицо моего сына, а на озерах и на пляжах все угасло и заброшено, все затихло, и я снова лечу к ограждению и возвращаюсь на свой соломенный матрас, принося с собой холод в костях пленного номер 6865.

Синьора, нужно, чтобы, по меньшей мере, в Рождественскую ночь моя мысль, сбежав за ограждение, могла найти теплый и светлый угол, где можно остановиться. Я хочу много света: хочу снова увидеть ваше лицо, хочу снова увидеть лик прежнего покоя. Иначе, какой смысл быть заключенным?»

Тут я почувствовал, что 24 строки вот-вот закончатся, и прервал письмо. В действительности строк было 138: я заполнил свои 24, затем 24 строки для ответа и еще пять листиков, которые подвернулись поблизости. Я очень аккуратно зачеркнул все и начал снова:

«Синьора, укрепи посылку пятькило с ½ талона посланцелью избегая лекаркарты и воспламеняющиеся. Посылмне шерстобмун, сигартабак...»

Затем я подумал, что вероятно цензура заподозрит в «посылке пятькило» какую-нибудь дьявольскую взрывчатку, и меланхолично пришел к выводу, что, как обычно, когда должен писать домой, никогда не знаешь, что сказать.

*Из беседы «Рождество 1943» — лагерь Беньяминово
24 декабря 1943 г.*

Перевод Дмитрия Войницкого, старшего преподавателя кафедры романской филологии Донецкого национального университета (amir04@mail.ru). Перевод занял третье место в номинации «итальянская проза» на конкурсе начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2018)

В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ



Из переводов Ольги Комаровой

Ольга Комарова окончила Воронежскую государственную лесотехническую академию и Воронежский государственный университет (факультет романо-германской филологии). Научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии. Переводит с английского, итальянского, испанского. Многократная победительница конкурса им. Э. Л. Линецкой (olya34@mail.ru)

Garcilaso de la Vega. Soneto XXIII

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo
airado
cubra de nieve la hermosa cumbre;

marchitará la rosa el viento helado.
Todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

Гарсиласо де ла Вега. Сонет XXIII

Покамест пышно розы расцветают
в румянце ваших щёк и не угас
чистый огонь в сиянье ваших глаз,
что сердце леденит и обжигает,

покамест всполохи волос играют
и золотом струятся на атлас
лебяжьей шеи и от дерзких ласк
шального ветра локоны взлетают:

вкушайте дивной юности плоды,
пока прошедших лет лихое бремя
не ляжет снегом на златую прядь;

увянут роз цветущие кусты.
Изменит всё безжалостное время,
чтоб самому себе не изменять.

*Перевод занял третье место в номинации
«испанская поэзия» на Международном
конкурсе начинающих переводчиков имени
Э. Л. Линецкой (2017)*

Giosuè Carducci. San Martino

La nebbia a gl'irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de' tini
va l'aspro odor dei vini
l'anime a rallegrar.

Gira su' ceppi accesi

Джозуэ Кардуччи. День святого Мартина

Туманное предгорье
Затягивает морось,
Внизу белеет море,
Вздыхает и бурлит,

А городок напоен
Благоуханьем пряным,
Вино вскипает в чанах
И сердце веселит.

Шипит, румянясь, мясо,

lo spiedo scoppiettando: sta il cacciatore fischando su l'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, com'esuli pensieri, nel vespero migrar.	Дрова пылают в печке, Охотник на крылечке Задумчиво глядит, Как в облаках багряных Кружит воронья стая, И мысль его, блуждая, За стаей в ночь летит. <i>Перевод занял первое место в номинации «итальянская поэзия» на Международном конкурсе начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой (2017)</i>
Eugenio Montale. Il XII mottetto Ti libero la fronte dai ghiaccioli Che raccogliesti traversando l'alte Nebulose; hai le penne lacerate Dai cicloni, ti desti a soprassalti. Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo L'ombra nera, s'ostina in cielo un sole Freddoloso; e l'altre ombre che scantonano Nel vicolo non sanno che sei qui.	Эудженио Монтале. Двенадцатый мотет Летела ты над выюгой и туманом В такую даль, снежинки в волосах, Я их коснусь... Все перья ураганом Переломало... Полдень на часах. Ты просыпаешься; кусты сирени Стучат в окно, стремясь уйти от света, Столь зябкого; и ищут тени На улицах тебя. Не знают, где ты. <i>Перевод удостоен дипломов «За удачные переводческие решения» и «За лучшее владение родным языком» на III Воронежском конкурсе переводчиков в 2014 г.</i>
Eugenio Montale. Maestrale S'è rifatta la calma nell'aria: tra gli scogli parlotta la maretta. Sulla costa quietata, nei broli, qualche palma a pena svetta. Una carezza disfiora la linea del mare e la scompiglia un attimo, soffio lieve che vi s'infrange e ancora il cammino ripiglia. Lameggia nella chiaria	Эудженио Монтале. Мистраль Бушевавшая буря утихла, лишь прибой причитал поначалу, да прибрежные пальмы дивились лазури, головами качали. Спит стихия морская, рябится лёгкой дрожью покой полусонный, когда ветер её мимоходом ласкает на пути к горизонту. То как солнце сверкает,

la vasta distesa, s'increspa, indi si spiana beata e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia vita turbata. O mio tronco che additi, in questa ebrietudine tarda, ogni rinato aspetto co' tuoi raccolti diti protesi in alto, guarda: sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va; né sosta mai: che tutte le cose pare sia scritto: «più in là».	недвижна, то вдруг хмурится, точно от боли, и в причудливой зыби зеркал проступает моя горькая доля. О, чурбан онемелый, ты в этом запоздалом блаженстве великом к чуду перерождения тянешь несмело свои пальцы, взгляни-ка: К синевою налитым пределам стая птиц устремляет полёт, им неведом покой, словно что-то велит им: «Вперёд!» <i>Перевод занял второе место на IV международном Черноморском конкурсе перевода (2018) в языковой паре итальянский-русский</i>
Rafael Alberti. A la Gracia A ti, divina, corporal, preciosa, por quien el aura impereceptible oreo el suspendido seno de recrea la perfección tranquila de la rosa. A ti, huidiza, resbalada, airosa, caricia virginal, sal que aletea y ante la mano en vuelo delinea tu fugitiva, rubia espalda, diosa. A ti, fino relámpago, destello, sonrisa más delgada que el cabello, burladora, infame travesura. La gracia de tu gracia es resistirte, correr, volar, asirte, desasirte. A ti, yo no sé qué de la Pintura.	Рафаэль Альберти. Грации Тебе, мечты земное воплощенье, чью грудь тугую с трепетом ретивым ласкает ветер в танце шаловливом, а розы замирают в восхищенье. Тебе, неуловимое виденье, златых волос живые переливы, невинность пылкая, богиня, дива, поправшая земное притяженье. Тебе, мелькнувшая в ночи зарница, лукавая смешинка, озорница, улыбка светлая, волос лучистей. Очарованье сполоху под стать — тебя не обрести, не удержать, немыслимый шедевр холста и кисти! <i>Перевод занял первое место в номинации «испанская поэзия» на Международном конкурсе начинающих переводчиков имени Э. Л. Линецкой (2018)</i>

Stefano Benni. Le macchine e i gatti	Стефано Бенни. О машинах и котах
Le macchine le macchine sono troppo veloci per i gatti i gatti che vogliono attraversar per cercare un amore un amore che dall'altra parte della strada sta (si sa, bisogna rischiare)	Машины машины слишком быстро ездят для котов котов которые пытаются пересечь дорогу в поисках любви любви что на другой стороне дороги (понятно же, надо рискнуть)
E i gatti i gatti sono troppo indipendenti per le donne le donne che li voglion carezzar per mimare un amore un amore quando proprio in giro non ce n'è (neanche a pagar)	А коты коты слишком независимы для женщин женщин которые пытаются их приласкать под видом любви любви когда любви в жизни и в помине нет (даже за деньги)
E se di notte mi vien voglia ti telefono dalle cabine in autostrada da qualche squallido bar sento i gettoni che cadono come battiti del mio cuore ingenuo a metà e tu rispondi annoiata scocciata addormentata alle tre di notte cos'altro potresti far e io ti chiedo sei sola e tu naturalmente ti incazzi vorresti dormire vorresti riattaccar e non capisci che...	И если ночью меня тянет позвонить тебе из будки на трассе из какого-то паршивого бара я слышу как падают жетоны как стук моего сердца отчасти наивного а ты злишься отвечая сердишься спросонья конечно, три часа ночи! и я спрашиваю, одна ли ты, а ты само собой в бешенстве хочешь спать хочешь бросить трубку и не понимаешь
I telefoni i telefoni sono troppo scomodi per le zampe dei gatti dei gatti che voglion telefonar	Что телефоны телефоны слишком неудобные для кошачьих лап для котов которые пытаются позвонить

per chiamare un amore un amore che abita in un'altra città (chissà se un giorno tornerà) E la notte la notte ci sono troppe stelle troppe macchine e ai gatti viene voglia di sdraiarsi proprio in mezzo alla strada e guardare e aspettar che qualcuno gentile ti tocchi la spalla e dica il mondo è finito, signore se ne può andar E se di notte ti vien voglia mi telefoni dalla tua casa tranquilla o da un albergo sul mar sento gli squilli che mi svegliano come battiti del tuo cuore ingenuo a metà e ti rispondo scocciato annoiato addormentato alle tre di notte cos'altro potrei far e se mi chiedi se sono solo dico son solo sono solo solo solo come posso spiegar i gettoni son finiti signore è ora di andar ma perché non capite che... Le macchine...	дозвониться до любимой любимой что живёт в другом городе (и кто знает вернётся ли вообще) А ночью ночью слишком много звёзд слишком много машин и котов тянет растянуться прямо посреди дороги и смотреть и ждать пока кто-нибудь не тронет за плечо и не скажет: «мир кончился, синьор, можно уже уходить» И если ночью тебя тянет позвонить мне из спящего дома или из прибрежного отеля я слышу звонки, просыпаюсь как от стука твоего сердца отчасти наивного и отвечаю злясь сердясь спросонья конечно, три часа ночи! и если ты спрашиваешь, один ли я, отвечаю: «один» я один один один как ещё объяснить?! «жетоны кончились, синьор, пора уходить» да как же вы не понимаете, что... Машины...
--	---

John Masefield. Sea fever

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by;
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.

I must go down to the seas again, for the call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.

I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life,
To the gull's way and the whale's way where the wind's like a whetted knife;
And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,
And quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over.

Джон Мейсфилд. Морская лихорадка

Мне нужно снова вернуться в море, я только для моря создан,
Мне нужен парус и звёздное небо — корабль вести по звёздам.
Штурвала рывки, и ветра рёв, на белом парусе рябь,
И серый туман над серой водой, рассвета серого зябь.

Мне нужно снова вернуться в море, я слышу прибоя зов,
Это ясный зов, первобытный зов дальних странствий и парусов.
Мне нужен бег облаков белёсых и пены бурлящей шквал,
И крики чаек, и брызги соли чтоб ветер с волны срывал.

Мне нужно снова вернуться в море, в цыганский кочующий быт,
К китам и чайкам, туда, где ветер, как острый клинок, разит.
Мне нужен смех моряков и байки, что травятся у штурвала,
И крепкий сон, беспробудный сон, как только в море бывало.

Mervyn Peake. To Maeve

You walk unaware
Of the slender gazelle
That moves as you move
And is one with the limbs
That you have.

You live unaware
Of the faint, the unearthly
Echo of hooves
That within your white streams
Of clear clay that I love

Are in flight as you turn,
As you stand, as you move,
As you sleep, for the slender
Gazelle never rests
In your ivory grove.

Мервин Пик. К Мейв

Ты идёшь и не видишь,
Как стройная серна
В движении каждом
Твоём невесомо
Скользит.

Ты живёшь и не слышишь,
Как в белых потоках
Божественной глины
Нездешнее эхо
Сквозит —

То серна в чертоге
Из кости слоновой
Биению сердца,
Любимого мной,
Вторит стуком копыт.

Tracey Herd. Breakfast at Tiffany's

*There are only diamonds in the whole world,
diamonds and perhaps the shabby gift of disillusion.
F. Scott Fitzgerald*

Holly Golightly haunts the streets of New York.
Look into the distance. The girl is gone,
and each diamond is simply a star in the dark

that she followed far from the well-worn track.
Now the stars are her jewels, the night, her gown.
Holly Golightly haunts the streets of New York.

Her reflection was elegant, slender and stark.
She toasted each dawn by strolling downtown
to the diamonds that spilled like tears from the dark.

Her moon river still leaps like a cat over rocks,
her small voice floating its singular tune.
Holly Golightly haunts the streets of New York

Slipping on shades to mimic the black
for she knew that the party would be over too soon
and that diamonds are lovely tricks of the dark

In each life, that solitary walk
into a distance that is ours alone.
Holly Golightly haunts the streets of New York,
And each diamond? Just a diamond, lost in the dark.
From Dead Redhead (Newcastle: Bloodaxe, 2001)

Трейси Херд. Завтрак у Тиффани

*«Во всем мире только бриллианты, бриллианты
и, быть может, жалкий дар разочарования».
Фрэнсис Скотт Фицджеральд*

Холли Голайтли идёт по Нью-Йорку,
Следы её ног пропадают вдали,
И гаснут бриллианты на фоне зари.

Она удаляется, в платье из ночи,
В колье из созвездий, в межзвёздной пыли,
От шумного мира по грязи обочин.

Скользит по Нью-Йорку изящная тень,

И там, где бриллиантовой россыпью слёз
Расплакалась ночь, уже теплится день.

От тихого голоса нежностью веет,
Мелодию утренний ветер донёс —
Холли Голайтли идёт по Бродвею.

Неслышно ступая, уходит во мглу,
Она понимает, что праздник не вечен,
Бриллианты — и те обратятся в золу,

Исчезнут под утро в рассветной тиши,
И эта прогулка продлится не дольше,
Холли Голайтли уже не спешит.
И даже бриллианты... Бриллианты, не больше.

*Перевод занял первое место в номинации «Английский язык, поэзия»
на XV Международном Молодежном конкурсе перевода Littera Scripta (2016)*

Giovannino Guareschi. La Lettera

Ci diedero il primo modulo-lettera, e si trattava di un foglio con molte istruzioni in tedesco e alcuni spazi bianchi da riempire in italiano. La metà destra del foglio era riservata alla risposta, e bisognava star bene attenti a non confondere l'una parte con l'altra e a scrivere chiaro, a matita e sopra le righe punteggiate, come vogliono appunto le convenzioni internazionali che tutelano il diritto delle genti.

Ci diedero pure una doppia cartolina ripiegabile corredata di severe istruzioni in francese, e la parte seconda di quest'altro ingegnoso meccanismo postale, appiccicata convenientemente su un pacco confezionato come da norme, avrebbe permesso a detto pacco di partire dall'Italia e di viaggiare verso la nostra temporanea residenza.

Il capitano N. mi disse preoccupato che si trattava di 24 righe in tutto, e il capitano C. aggiunse che se si considerava che oltre al resto noi avremmo dovuto far entrare nelle 24 righe le istruzioni dettagliate riguardanti i pacchi, la faccenda si sarebbe subito appalesata molto grave. «Bisognerà arrivare alla massima concisione», concluse il capitano M.

Ci disponemmo coscienziosamente al lavoro, comunicandoci via via il risultato dei nostri studi personali.

Il capitano N., desiderando notizia sull'andamento della casa e degli affari, dopo adeguata riflessione, espresse la prima formula ingegnosa: «*Notìziami andamencàsa e andaffàri*». Si trattava di un virtuosismo di concisione, e il capitano N. venne classificato a pari merito col capitano C., il quale, intendendo che la consorte gli mettesse nel pacco la sua divisa di panno e tutto il corredo di lana, propose uno snellissimo: «*Pàccami pannàbito e lancorrèdo*».

Approvammo, e mettemmo allo studio il problema più difficile: spiegare in poche parole come si dovesse confezionare un robusto pacco di 5 Kg., usando la

cedola all'uopo inviata, evitando di introdurre in esso pacco carte, medicinali, liquidi infiammabili, e avendo invece cura di farci entrare, per esempio, sigarette, tabacco, crema d'orzo e farina di frumento.

Fu un lavoro lungo, ma rallegrato da un pregevole risultato:

«Robustizzàte pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata evitando medicincarte et infiammabili. Paccàte sigartabacco, cremòrzo, frumfarina...».

Ricordai allora le colonne di annunci economici e il loro gergo, ma non risi; anzi, ripensai alle vecchie pagine con una nuovissima nostalgia. O colonne dense e grige, voi — con bizzarre parole che parevano sforbiciate da un telegrafista avaro — ci narravate di illibate quarantenni desiderose relazionare scopo matrimonio; di stenodattilo disposte migliorare: di piedaterra discreti; di letti-famiglia avidi di impiegati stabili; di ammobiliate termobagno assetate di parastatali. O colonnine grige, voi ci raccontavate di automobili straoccasione pronte a rollare dolcemente sugli asfalti circondanti laghi azzurri; di torni a revolver attesi con ansia in officine sonanti; ci raccontavate di agenzie discretissime; di affari vantaggiosissimi, di onesti pensionati, di offerte di impiego. E io, ripensando a voi da questo recinto, dopo aver per tanto tempo sorriso sulle vostre strane parole, provo una sottile nostalgia.

O pagine grige, strampalata letteratura a dieci lire la riga, scopro ora che avevate una vostra poesia. Una poesia piena di fremiti, un ritmo potente: la poesia del lavoro, il ritmo della vita.

Udendo le strane parole architettate per la nostra lettera, ripensai alla pagina grigia degli annunci economici e ad un ritmo che ora è spezzato. Oggi io penso a una pagina tutta bianca, squallidamente deserta, con, in fondo, un solo annuncio di cinque millimetri, un piccolo annuncio di una sola riga pazza e disperata: *«Un bambino cerca ogni sera il suo papà lontano».*

«Robustizza pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata...».

Ripensai alle bizzarre parole dell'ultima pagina di un «Corriere» di tempi lontani e alla stenodattilo, al lettofamiglia e al termobagno. Ma non risi, e dissi che per me la formula andava bene e che anch'io l'avrei adottata. Poi mi ritirai dal consesso e mi accinsi a riempire di lettere piccole piccole le mie ventiquattro righe.

Scrissi col lapis, sopra la punteggiatura, come vogliono appunto le convenzioni internazionali che tutelano il diritto delle genti:

«Signora, robustizza pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata evitando medicincarte et infiammabili. Paccami lancorredo, sigartabacco e secca-castagne. Se però credi castagne ben cotte possano giovare al bambino, non inviarle. Non mi manca niente. Di una sola cosa ti prego: che la sera della vigilia di Natale tu imbandisca la tavola nel modo più lieto possibile. Fai schiodare la cassa delle stoviglie e quella della cristalleria; scegli la tovaglia migliore, quella nuovissima piena di ricami; accendi tutte le lampade. E prepara un grosso albero di Natale con tante candeline, e prepara con cura il Presepe vicino alla finestra, come l'anno scorso.

«Signora, io ho bisogno che tu faccia questo. Il mio pensiero ogni notte varca il reticolato: lo so, ti riesce difficile figurarti il mio pensiero che varca il reticolato. Il pensiero è un soffio di niente e non ha volto: e allora figurati che io stesso, ogni notte, esca dal recinto. Figurati un Giovannino leggero come un sogno e trasparente come il vento delle serenissime e gelide notti invernali.

«Io, ogni notte, approfitto del sonno degli altri e mi affido all'aria e trasvolo rapido gli sconfinati silenzi di terre straniere e città sconosciute. Tutto è buio e triste sotto di me, e io affannosamente vado cercando luce e serenità. Rivedo la Madonnina del Duomo, ma le strade e le piazze non sono più quelle di un tempo, e stento a ritrovare il nostro quarto piano.

«Signora, non dire che sono il solito temerario se entro in casa dal tetto: anzi, loda la mia prudenza se non mi avventuro lungo le macerie della scala. E poi il tetto è scoperchiato e si fa più presto. Riconosco lo scheletro delle nostre stanze e ricerco i nostri ricordi nascosti sotto i rottami dei muri crollati. Tutto è buio, freddo e triste anche qui, e soltanto se la luna mi assiste riesco a scoprire sui brandelli delle tappezzerie che ancora pendono alle pareti, i riquadri chiari e la topografia dei nostri mobili.

«Per le strade deserte, cammina soltanto la paura vestita di luna. Su un brano di tappezzeria dell'ex-anticamera vedo un fiorellino. Uno strano fiore nero a cinque petali. Signora, rammenti quando Albertino decorò le nostre stanze con la piccola sciagurata mano intinta nell'inchiostro di China? Inutilmente vado a ricercare vestigia di giorni lieti fra le pareti dell'ufficio; le pareti non ci sono più, e il grande edificio è un cupo mucchio di cemento annerito dal fumo.

«Fuggo dalla città buia e silenziosa, e rivedo i luoghi dove, zitella, tu mi conoscesti zitello. Ma anche qui è squallida malinconia, e io mi rifugio alla fine nella casupola dove si accatastano i miei ultimi effetti e i miei primi affetti. Tu dormi, Albertino dorme, mia madre, mio padre dormono.

«Tutti dormono, e cercano forse di ritrovare in sogno il mio ignoto, lontano rifugio. I nostri mobili si affollano disordinatamente nelle esigue stanze immerse nell'ombra, e dentro le polverose casse del solaio le parole dei miei libri si sono gelate.

«Signora, io cerco un po' di luce, un po' di tiepida serenità, e invece non trovo che buio e freddo, e non posso ravvisare nel buio il volto di mio figlio, e sui laghi e sulle spiagge tutto è spento e abbandonato, tutto è silenzio, e io rinavigo verso il recinto e torno al mio pagliericcio portando il gelo nelle ossa del numero 6865.

«Signora, bisogna che, almeno la notte di Natale, il mio pensiero, fuggendo dal recinto, possa trovare un angolo tiepido e luminoso in cui sostare. Voglio tanta luce: voglio rivedere il vostro volto, voglio rivedere il volto dell'antica serenità. Altrimenti che gusto c'è a fare il prigioniero?».

Qui ebbi la sensazione che le 24 righe stessero per finire, e mi interruppi. Le righe erano in effetti 138, e io avevo riempito le 24 mie, le 24 della risposta e altri cinque foglietti che stazionavano nei paraggi. Con estrema cura cancellai tutto e ricominciai da capo:

«Signora, robustizza pacco pentachilo a 1/2 cedola all'uopata evitando medicincarte e infiammabili. Paccami lancorredo e sigartabacco...».

Poi pensai che probabilmente la censura avrebbe sospettato nel «pacco pentachilo» chissà quale diavoleria esplosiva, e conclusi malinconicamente che, come al solito, quando si deve scrivere a casa non si sa mai cosa dire.

*Dalla conversazione «Natale 1943» — Lager di Beniaminovo
24 dicembre 1943*

Джованнино Гуарески. Письмо

Впервые нам выдали формуляр письма — бланк, испещрённый инструкциями на немецком, на итальянском оставалось заполнить пустые графы. Правая его половина предназначалась для ответа, писать нужно было аккуратно, чтоб ненароком не залезть на неё, буквы выводить карандашом, разборчиво, не выходя за пунктирные линии, в точности как того требуют международные конвенции о защите прав человека.

В комплекте с этой хитроумной почтовой декларацией шла сложенная вдвое карточка, к которой прилагались строгие инструкции на французском. Её, в свою очередь, следовало прикрепить к упакованной по всем правилам посылке, что позволит оной добраться из Италии к месту нашей временной дислокации.

Капитан Н. озабоченно заметил, что на всё про всё у нас 24 строчки, а капитан Ч. добавил, что сюда же надо включить и подробные инструкции по комплектации, то есть задача предстояла не из лёгких. «Значит будем предельно лаконичны», — подытожил Капитан М.

За дело принялись со всей тщательностью, делясь творческими успехами.

Капитан Н., желая узнать, как идут дела и как справляются дома, покумекав немного, выдал первую замысловатую фразу: «Домоделаграфируй!» Ёмкость его письма завораживала. Капитану Ч. удалось достичь не меньшей сжатости — он хотел, чтобы супруга выслала ему тёплый мундир и комплект шерстяного белья, и написал неподражаемое: «Отепломундирь и ушерстекомплектуй!»

Покончив с личными запросами, мы взялись за самую сложную часть: в двух словах объяснить домашним, что посылку надо хорошенько утрамбовать и снабдить второй половиной сопроводительного бланка, весить она должна не более пяти килограмм, пересылать медикаменты, писчую бумагу и горючие вещества запрещено, а положить, например, табаку, крупы и сухарей нужно непременно.

Потрудиться пришлось изрядно, но результат того стоил: «Утрамбуйте пятикилопакет с 1/2 сопроводилки без писчебумажных и медгорючих. Осухарите и окрупотабачьте».

Тут-то мне и вспомнились газетные колонки с объявлениями, теперь их причудливый язык не казался смешным, наоборот, при мысли о старых страницах сердце с новой силой защемило от тоски. О, убористые серые строки, диковинные, словно скупым телеграфистом урезанные словечки, вы рассказывали нам о том, что сорокалетние девы познакомятся для создания семьи, а литработники легкообучаемы, возможно перепрофилирование; о скромных б/у однушках; о койко-местах, ждущих платёжеспособных съёмщиков; о жилплощадах с хол/гор водой, предпочтение госслужащим. О, серые строчки, вы повествовали об авто втридешева, готовых мягко выкатиться на дорогу асфальт 5 минут до чистейшего озера, о токарно-револьверных станках, срочно требующихся гудящим цехам, вы прочили нам решения деликатнейших вопросов, сулили сверхприбыльные сделки, пели о порядочных пенсионерах и предложениях трудоустройства. Когда-то мы потешались над

вашей витиеватостью, но по эту сторону колючей проволоки я вспоминаю вас с едва уловимой грустинкой.

Да, серые колонки, замысловатая литературная форма, десять лир строчка, теперь я проникаюсь вашим искусством. В вашей поэзии пульсирует особая жилка, могучий внутренний ритм: это поэзия рабочих будней, ритм самой жизни!

Вас-то я и вспомнил, слушая затейливо сооружаемые нами слова, но былой ритм нарушен, а слог утерян. Теперь на месте серых столбцов мне видится пустая страница, унылый белый лист, в самом низу которого крошечными буквами набрана одна-единственная строчка, безумная и беспомощная: «Потерялся папа, просим вернуть. Сын».

«Утрамбуйте пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки...».

В памяти всплывали чудаковатые словечки на последней странице старого выпуска «Коррьере делла Сера», литработникий, однушки и хол/гор вода. Но нелепым этот язык уже не казался, напротив, именно такие слова сейчас требовались, их я и стал подбирать. Уселся в сторонке и малюсенькими буквами начал заполнять свои двадцать четыре строчки.

Разумеется, карандашом, не выходя за пунктирные линии, в точности как того требуют международные конвенции о защите прав человека:

«Дорогая, утрамбуй пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки без писчебумажных и медгорючих. Теплоснаряди, отабачь и окаштань, впрочем, если полагаешь, что каштаны будут полезны сыну, побереги их для него. Мне же ничего не нужно. Об одном молю: в канун Рождества собери на стол всё, что есть в доме, распакуй нашу утварь, достань хрустальный сервиз, постели лучшую скатерть, самую новую, с вышивкой, и пусть в эту ночь горят все огни. И ёлку наряди огромную, с кучей свечей, а у окна любовно сооруди вертеп, как в прошлом году.

Сделай это ради меня, родная, ибо душа моя каждую ночь рвётся к вам, уносясь за колючую проволоку... Я знаю, что тебе трудно представить, как душа может куда-то уноситься, ведь это всего лишь безликое и неосязаемое дуновение, ну так представь, что сам я еженощно вырываюсь на волю. Представь, что твой Джованнино лёгок, как сон, и прозрачен, как воздух морозными зимними ночами.

И каждый раз, когда все засыпают, я взмываю в небо, пролетаю над бесконечным безмолвием чужих земель и незнакомых городов. Вокруг мгла да скорбь, и я отправляюсь искать свет и уют. Вот я вновь вижу Мадонну на шпиле Дуомо, но не узнаю ни улиц, ни площадей, всё так изменилось, и никак не найду наш пятый этаж...

Драгоценная моя, не ругайся, что я в своём репертуаре, что только последний сумасброд может влетать в комнату через крышу, ты подумай сама, неужто лучше карабкаться по обвалившимся ступеням? И потом: крышу давно снесло при бомбёжке, да и быстрее так. Я узнаю пол, перекрытия, здесь мы жили, но воспоминания погребены под обломками стен. Здесь тоже царят мгла, холод и скорбь, и лишь когда луна милостиво освещает руины, мне удаётся

разглядеть на ошмётках обоев, сохранившихся на стенах, светлые следы от нашей мебели.

По пустынным дорогам нынче бродит лишь страх в лунном свете. А на обрывке обоев в бывшей прихожей чернеет диковинный цветок с пятью лепестками. Помнишь, родная, как Альбертино, этот проказник, перепачкал ручонки в чернилах и разукрасил нам все комнаты? Тщетно ищу я следы нашей счастливой поры на стенах в кабинете: и стен-то больше нет, да и всё здание больше похоже на груды цемента, закопченную дымом до черноты.

И я бегу прочь из немого окутанного мглой города, бегу туда, где, ещё неженатый, впервые встретил тебя, ещё незамужнюю. Но и там витает беспросветная горечь, и наконец я бросаюсь к той хижине, где приютились мои далёкие пожитки и близкие мне жизни. Ты спишь, Альбертино спит, спят и мои мать с отцом.

Все спят и, как знать, может, чают увидеть во сне моё далёкое неведомое пристанище. В тесных тёмных комнатках не протолкнуться — всюду громоздится наша мебель, а в пыльных ящиках на чердаке леденеют слова моих книг.

Ненаглядная моя, я так ищу хоть каплю света, хоть толику тепла и уюта, а нахожу лишь мрак да холод, даже лицо сына не рассмотреть впотьмах, не горят огни ни на пляжах, ни у озёр — ни души, ни звука, и я возвращаюсь в лагерь, где ждёт меня всё та же соломенная подстилка, холод, пронизывающий до костей, и номер 6865 на рукаве.

А посему, разлюбезная моя, хотя бы в Сочельник уповаю я на тёплый и светлый закуток и мечтаю, что, прилетев к вам, увижу блеск огней и любимые лица, найду позабытый уют, ведь иначе и концлагерь не в радость...»

Тут мне показалось, что я не укладываюсь в 24 строчки. Я прервался и пересчитал их: в самом деле, строк было 138, я исписал 24 своих, 24, предназначенных для ответа, и ещё пять листов, подвернувшихся под руку. Пришлось аккуратно стереть всё и начать заново:

«Дорогая, утрамбуй пятикилопакет с 1/2 сопроводиловки без писчебумажных и медгорючих. Теплоснаряди и отабачь...».

Затем подумал, что и в «пятикилопакете» проверяющие могут углядеть бог весть какой взрывоопасный смысл, и грустно заключил, что, когда пишешь домой, вечно не знаешь, что сказать.

Из цикла «Рождество 1943-го», лагерь Беньяминово.

24 декабря 1943 г.

Перевод занял первое место в номинации «итальянская проза» на Конкурсе начинающих переводчиков им. Э. Л. Линецкой (2018)

Massimo Bontempelli. La Violetta

Rosa augurò agli ospiti la buona notte, salì di corsa nella sua camera e chiuse l'uscio a chiave per sentirsi più sola. Quando tutta la casa fu immersa nel silenzio, Rosa si mise a scrivere al suo amore così: "Amore caro, quest'oggi ti scrivo di sera

perché tutto il giorno siamo stati qua e là, un poco a fare visite e un poco a spasso per la campagna. Durante le visite mi pareva d'essere morta e sotto terra, nella campagna invece diventare una rondine o un angelo e volare tra la terra e il cielo, e ogni tanto mi pareva ci fossi anche tu a volare con me, ma non era vero, ma ero felice ugualmente; dimmi se questo è molto brutto. Io credo di no perché in quella felicità mi sentivo riempire di cose buone da portare a te quando ti rivedrò, che sarà tra undici giorni e quasi mezzo, cioè esattamente tra due- centosettantatré ore. I momenti che mi pareva ci fossi anche tu erano specialmente quando dai campi aperti entravamo dentro i boschi, che sono di querce foltissime e scure e fresche come le chiese; ma anche con tutti quei rami e i milioni di foglie unite come un gran tetto, quando sentivo tutt'a un tratto che c'eri tu e mi prendevi per un gomito, riuscivamo benissimo a traversare le foglie e volar al disopra delle querce e raggiungere il cielo che era chiaro e aperto senza una nuvola e pieno di luce da tutte le parti. Ma erano momenti brevi, tu scomparivi subito, dove diavolo te ne andavi così d'improvviso ? e io mi trovavo di nuovo giù; e i miei compagni e compagne a domandarmi: « che cos'hai Rosa? ». Allora io mi chinavo a guardare in terra e così improvvisamente ho scoperto che tra le querce un po' dappertutto erano spuntate le violette: certi cespi in mezzo ai sentieri paiono mazzetti già pronti e si ha paura di schiacciarle; certe altre stanno più al sicuro ai piedi della quercia proprio tra le radici che sporgono e il tronco: tutti quegli incavi con un po' di terra erano tanti nidi di violette nate la notte prima, alcune più cupe altre pallide quasi celesti. Loro si sono messi a coglierle, a me invece dispiaceva staccarle di là, ma mi vergognavo a dirlo, così ne ho colta una poi correvo via e quelli mi seguivano e non ci pensavano più. Mi piacerebbe..."

A questo punto Rosa s'interruppe per un pensiero improvviso.

S'alzò di colpo, gettò la penna, camminò due o tre volte furiosamente su e giù per la camera arrabbiandosi: "perché non ci ho pensato allora ?". Le era venuto in mente che sarebbe stato bello mettere nella lettera quella violetta; ma non l'aveva serbata, forse l'ha perduta, o senza farci caso l'ha data a qualcuno, non sa più. Le veniva da singhiozzare per il dispetto, si rimproverò quasi ad alta voce:

"Sciocca, cattiva".

La sua furia cominciò a calmarsi, perché un altro pensiero s'avanzava incontro a lei, fin che si presentò chiaro.

Rosa ricordò che rientrando dalla campagna aveva veduto, in giù poco lontano dalla casa, altre violette fiorire gli orli d'un rigagnolo che dal monte scende alla strada poi per un tratto la fiancheggia. Ricordava esattamente il punto, lo avrebbe ritrovato anche al buio. Erano tante, sparse per tutta la sponda come un popolo in piazza.

Si mise a ridere per la contentezza. "Scendo a coglierne una." Appena pensato così, si vide precipitare addosso tutte le difficoltà di quel proposito tanto facile. Uscire di camera, scendere a terreno, aprire la porta; poi il ritorno.

Quanti rumori . Se qualcuno in casa si sveglia, dà l'allarme. Se la sorprendono, che dire ?

Tutto in lei s'allentò. Prese dal tavolino il foglio, vide le due parole mi piacerebbe poi tutto il vuoto della pagina; e si sentì sprofondare in quel bianco. Chiuse gli occhi. Rimase qualche minuto, capo chino braccia abbandonate, senza più fare un movimento.

Poi si scosse, s'alzò, guardò intorno con sfida, perché s'era risoluta. A qualunque costo, contro ogni pericolo. Rimise il foglio sul tavolino e senza neppure sedersi rapidamente scrisse le ultime righe: "anzi ti metto qui dentro una violetta, pensa, la prima violetta della primavera, che sarà la nostra prima primavera, non è vero? e vado a impostarla io nella cassetta dell'angolo che t'ho già descritto, dove le levano all'alba. Ti bacio come quel giorno, no, di più. Rosa".

Piegò il foglio e l'infilò nella busta ch'era già pronta con l'indirizzo, s'accomodò cautamente la lettera in seno, e mosse all'impresa.

Il principio fu ottimo. La molla non scattò, il cardine non cigolò; L'uscio, docile come un bambino buono, si lasciò aprire e richiudere, e Rosa fu nel salone centrale che era scurissimo ma lei lo sa a memoria. Tese l'orecchio al silenzio che veniva dalla parete opposta (di là sono le camere dei suoi ospiti): silenzio di sonni densi, silenzio supremo, silenzio tanto premuto e soprannaturale ch'ella ora tremava come per paura di vederlo esplodere, ma a poco a poco sentì il cuore calmarsi e subito senza errori in punta di piedi raggiunse il sommo della scala. Ben altre paure t'aspettano, ragazza temeraria. La discesa non era difficile: tenendosi al corrimano, uno per uno fece i gradini (qui il tappeto morbido smorza i passi) che all'ultimo la deposero nel vestibolo. Un passo nel vuoto, tende una mano, ecco l'orlo della grande tavola; la percorre tutta nel suo lato più lungo, volta a destra, dopo altri due passi, alt: sapeva di trovarsi di fronte alla porta d'uscita, anzi ne intravvide la sagoma, qui ci si vede un poco, forse l'occhio mi s'è abituato, ma a che altezza è il chiavistello?

Lo trovò, tirò piano, guadagnando un millimetro per volta, fin che l'ebbe liberato. Poco più su è la maniglia, la prende, la gira; e in quell'atto chi sa perché rivolse un poco la testa e a stento riuscì a non mandare un gran grido; lo sguardo le era caduto verso il basso d'un uscio e la sotto appariva una pallida striscia di luce. Rosa agghiacciò, qualcuno dietro quell'uscio non dorme, certo l'ha udita e ha acceso il lume; no, era acceso da prima, per questo c'era meno buio, ma lui ora udra certamente, s'ella fa ancora un movimento; chi sa quanto tempo sta passando? poi non riuscì a pensare più niente, solo sentiva la destra aggranchirsi contro la maniglia, che pare infocata ma non si può più abbandonarla, peggio ancora spingere la porta; Rosa non sa altro che rimanere con gli occhi sbarrati a quella luce che pare sempre più tagliente: forse si metterà a parlare, quella infernale lama di luce? No. Anzi tutt'a un tratto, Dio!, è scomparsa. Ma dietro c'è ancora quello là, quello che ha spento, chi sarà? Ora il buio è insopportabile; meglio mettersi a gridare che stare un secondo di più schiacciata in questo nero, col mostro sveglio a tre passi da lei. Se lui riaccendesse, a Rosa parrebbe un sollievo. Un momento, una voce forse? La dentro è nato un suono, sì; ma non voce: flebile, lento, diventa un ritmo è un respiro, respiro lungo, respiro grosso, colui dunque s'è addormentato, dorme, russa! e a Rosa torna nelle vene il sangue a circolare, la maniglia è diventata fresca e morbida. Eppure, che c'è ora? Dio, la porta da sé lentamente si apre? No, Rosa, non si apre da sé, tu l'hai spinta l'hai riaccostata; L'aria della notte è fresca, guarda in alto, ci sono le stelle.

Rosa mandò un grande respiro e gli alberi della collina mossero tutte le loro foglie salutandola poi tacquero. Corse fino al ruscello, di là si voltò a guardare in su la casa divenuta grave come un sepolcro, in giù la strada che scende tra due muri e a una svolta si perde. Avidamente mirava tutte le forme distese ognuna sotto un suo

silenzio: la pianura pallida per un lume di luna ancora nascosta dietro il monte, lontane masse d'alberi rimasti tenebrosi sotto le stelle che li toccano, sopra ogni cosa il cielo concavo bruno tra stella e stella; e qui Rosa, sola nel centro del mondo a respirare in mezzo alla notte.

Niente più le faceva paura, nemmeno i rari sussurri che rampollavano ogni tanto dal cuore dell'aria, effimeri, inafferrabili, assurdi. Non la spaventò un fragore di carro che nacque dietro la casa: anzi lei s'aspettava di vederlo arrivare, carico d'erba, tirato da due bovi, e in alto un uomo che di lassù le rivolgerà la parola. Invece il rumore s'allontanò dall'altra parte e digradando le rievocava stranamente la spiaggia del mare. Attenta ascoltò fino all'ultimo; quando fu tutto svanito, Rosa s'accorse che per seguire il rumore aveva camminato salendo per un tratto la strada verso il monte. Allora piegò in una traversa sassosa e arrivò al greppo alto ove s'apre allo sguardo un'altra vallata. Anche là rimase contemplando: da quella parte la notte è più familiare, dal basso arriva un suono d'acqua tra i sassi.

Tornò indietro, lentamente ridiscese la strada fino al ruscello, rapita guardava e respirava, non s'era mai resa conto che respirare è il nostro piacere più grande. La colse una commozione, senso di pienezza dell'anima, volontà d'espandersi; forse per trattenerla, si strinse le mani al petto: e vi sentì la lettera. Non se n'era dimenticata, ma ora quel contatto la richiamò con precisione al suo compito.

La sponda fiorita, ricordava, sta un poco più in basso.

Rosa si mise a correre e questo la alleggeriva: correva come se cantasse. Arrivò al punto ove passando aveva visto le viole. Si chinò, le ritrovò subito. Al poco chiarore si son fatte più brune, qualcuna per riposare meglio s'è ristretta e chinata ad appoggiarsi sulle foglie. Rosa stese la mano all'erba e la sentì umida, anche questo le parve una cosa nuova e bellissima.

Colse la violetta più aperta, prima di metterla nel foglio la baciò, rilesse l'indirizzo, risalì tutto il cammino oltre la casa, fino all'angolo della cassetta postale, lesse un'altra volta quel nome e imbucò la lettera con un sospiro.

A questo punto si sentì vuota e meno contenta, e non sapeva perché. Si riavviò a lentissimi passi per rientrare.

Quando fu vicina alla casa la prese una inquietudine: se qualcuno la dentro s'è svegliato?

Si fermò girando lo sguardo intorno ma non vedeva più niente. Rabbrivì e s'accorse che un soffio di vento aveva scosso tutti gli alberi e l'aria. E se qualcuno è disceso al vestibolo e ha chiuso la porta? Riprese riluttante a camminare.

Tutt'a un tratto vide l'aria più chiara. Alzò lo sguardo al cielo, dal monte era uscita la luna, un esile quarto di luna, pure dal fondo del cielo alcune nuvole scure s'eran mosse per andare a coprirlo. Rosa agitata affrettò il passo, un soffio più forte la spinse ed ella si mise a correre e davanti alla casa si fermò di colpo e guardò. La porta era ancora socchiusa. Si calmò per un solo istante; perché mentre stava per alzare piano la mano, un altro sospetto più feroce la gelò: mentre lei s'era allontanata poteva essere entrato un ladro, molti ladri, la sua ospite parlava spesso di ladri notturni. Intanto il cielo e la luna s'erano coperti del tutto. Rosa batteva i denti, il vento dagli alberi del monte fischiò. Nella sua angoscia Rosa tirò a sé forte la porta, si buttò dentro, prima di richiudere aspettò che il cuore non le saltasse più tanto.

Quando fu nella sua camera, avrebbe voluto battere le mani per l'allegrezza. Provò due o tre passi di danza, a piedi nudi, si buttò in terra e tentava di fare una capriola ma non le riuscì. Allora si risolse ad andare a letto ma le pareva di non aver sonno. Spense subito il lume per poter pensare al suo amore, si strinse tutta nelle coperte, tese l'orecchio alle folate del vento che cresceva: "forse viene un temporale" pensò: "se il mio amore fosse qui" si diceva lentamente "qui seduto sulla sponda del mio letto..." ma prima di finire quel pensiero facile, s'era addormentata.

Cominciò a sognare che scendeva da un greppo alto verso il fondo d'una valle perché laggiù c'è il suo amore ad aspettarla, ma ogni tanto s'accorge che credendo di scendere invece risaliva, e risalendo, invece che un sentiero quella è una scala di gradini col tappeto morbido fiancheggiata da due muri che a una svolta si perdono; allora lei si gira per ricominciare a scendere e di nuovo stava salendo, tanto in fretta che affannava e la voce del suo amore diceva: "colpa tua colpa tua". Voltandosi vedeva lui con un volto severo come non gli aveva mai visto, allora gli domanda: "che hai?" e lui ripete "colpa tua". Rosa stava per piangere ma lui a un tratto fa una faccia arrabbiata gridandole "non vedi che schiacci le violette?" e la strappa per un braccio mentre una quercia dal gran vento si rompeva e un pezzo di tronco precipita proprio dove prima era lei e arrivando in terra da un colpo tanto secco che Rosa, già tra le braccia di lui, sobbalzò e si trovò sul letto, ma sola, e subito udì un nuovo colpo e capì che era la persiana a sbattere contro il muro. Poiché sbatté una terza volta, Rosa nonostante il sonno spinse fuori le gambe, scivolò giù e corse ad aprire la finestra.

Nel cielo non si vedeva più nemmeno una stella, L'aria era scurissima e corsa da quei soffi, nel buio si sentiva l'agitazione degli alberi. Rosa richiuse e assicurò la persiana e la finestra poi tornò lenta verso il letto, stette un poco là in piedi ad ascoltare una inquietudine che le aveva preso l'anima, una mortificazione non sapeva di che. Quando fu tornata tra le coperte mormorava "che cosa è accaduto? forse il mio amore sta male?". Per consolarsi s'applicò a ripensare tutta la sua avventura di poco fa, che ora le pare semplicissima: era bello camminare qua e là in mezzo all'aria, alle cose tranquille e distese: dove sarà arrivato quel carro che rotolava? certo, era pesantissimo, andava lontano, forse voleva arrampicarsi nel cielo, avrà schiacciato qualche stella?

E vide una folata di stelle fuggire spaventate lungo il monte, scendere fulminando a lei avvolgerla sollevarla: si sentiva volare con facilità e guardava intorno per incontrare lui: "caro, è la nostra prima primavera, e tu dove vai? dove vai?" perché egli s'era allontanato senza guardarla ("colpa tua, colpa tua") con la lettera in mano aperta, lei invece aveva tra le dita la violetta schiacciata, gli alberi fischiavano, le stelle dileguavano. Rosa è sola ferma davanti alla porta di casa che è chiusa, mai più potrà entrarci, mai più lei potrà entrare in nessuna casa; mentre il vento la spingeva contro quell'uscio duro poi la risucchiava via. Sotto l'uscio apparve una lama di luce e Rosa si mise a gridare "aprimi aprimi"; e in quel modo veramente gridando, si riscosse con la faccia molle di lacrime, L'asciugò a un lembo del lenzuolo, accese il lume e subito di nuovo lo spense e lo riaccese.

"Che cosa ho fatto di male per trattarmi così? Amore amore forse ti ho scritto troppo poco? perché non sei qui a spiegarmi? Quando avrai la mia lettera? se tu arrivassi qui...

Anche nel silenzio più fondo, uno che va nella notte sente se dietro la siepe c'è un agguato. Rosa sentiva una siepe e un agguato che forse tra un passo, tra due, cinque passi, la assalterà. Uno lo sa ma non può fermarsi, e fa quell'uno quei cinque dieci passi, e di colpo ha addosso il nemico.

"... Se tu arrivassi qui all'improvviso, no, se quando sono rientrata tra tante paure ti avessi trovato qui: "sono venuto perché non sapevo più niente di te". 'Ma io ti ho scritto tutti i giorni, un giorno anche due volte, e anche questa notte.' 'Questa notte?' 'Sì e nella lettera ho messa una violetta per te, l'ho colta poco fa, la più bella, te l'ho scritto: la prima violetta della primavera... ah !...

È saltato fuori dalla siepe, il nemico cattivo, t'ha dato un colpo feroce sulla testa. ("Colpa tua, colpa tua"). Era dentro te, nel fondo, e solo ora è venuta a galla, la cosa che ti rodeva dentro e non la riconoscevi: sentire oscuro, che ora a tradimento è diventato un pensiero preciso.

Rosa rotolò dal letto, si mise le mani tra i capelli e gemeva, certo strideva forte ma non importa, il vento urla sulla casa e non sentiranno singhiozzare, nessuno sente più niente in tutto il mondo.

Buttata in terra Rosa sbarra gli occhi verso un angoscioso pensiero puerile. Questo:

"Gli ho scritto proprio così: la prima violetta della primavera. E non era vero una bugia. Non era quella, colta nella notte smemorata, poco fa, di nascosto per rimediare a una dimenticanza. In verità la prima violetta era stata l'altra, di giorno, nella scampagnata rumorosa, poi scioccamente perduta. Perché non dirlo ? Bugia. Non l'ho detto apposta, L'ho scritta senza pensarci per la fretta. Ma bugia è. Ho anche scritto: sarà la nostra primavera; oh la primavera di un amore grande che deve diventare tutta la vita di noi due, comincia con una bugia e un sotterfugio.

Non può che portare disgrazia a tutta la primavera, a tutto l'amore, a tutta la vita. Così presto ti ho mentito."

Lo scrupolo s'è fatto intollerabile. Sotto i morsi della coscienza feroce, Rosa si sente diventata bruttissima.

"Certo anche se vuole perdonarmi, non potrà mai più guardarmi, brutta così. Non c'è un rimedio. Lui è troppo lontano. Potere correre giorni e notti e arrivare prima della lettera con tanto fiato ancora da dirglielo: 'Non leggere, non era vero, me ne sono accorta dopo' e morire ai suoi piedi, quale felicità!" In un rigurgito della sua disperazione si rianimò, scattò in piedi, moveva passi furibondi. "Tornare fuori, correre alla tremenda casetta rossa, farla a pezzi, incendiarla, distruggere quella vergogna Un momento, non divagare, Rosa, pensiamo bene. Gliene scrivo un'altra? e domattina la mando? no, perché intanto questa è già partita, lui la legge e per un giorno intero vive nell'inganno, e non voglio. Bisogna scriverla subito, raccontare tutto, tornare fuori in fretta, impostarla prima della levata, le due lettere almeno arriveranno insieme. Su, presto ! "

Sentiva piegarsi le ginocchia. Strinse le mani fino a ficcarsi le unghie nelle palme. Scorse sul tavolino un bicchiere pieno d'acqua, se la versò sulla testa, che le

bruciava. Così scarmigliata e gocciolante sedette, prese un foglio e le mani le tremavano. Scrisse d'impeto: "Amore, amore". Cercava tormentosamente un esordio. "M'è accaduta una cosa terribile." No, si spaventa. Stracciò il foglio.

"Amore mio, ho fatto una cosa orrenda." No, chi sa che cosa immagina subito. Sul terzo foglio, dopo aver bene pensato, scrisse: "Amore mio, m'è accaduta una cosa ridicola ma mi fa tanto soffrire". Così va bene. "Quando poco fa t'ho scritto l'altra lettera, a me sembra moltissimo ma sono poche ore..." Arrivata alla fine della prima pagina, s'era tanto impigliata nel racconto che ancora era lontana dal punto bruciante. E s'avvide che la scrittura le usciva tutta sgangherata e tremula. Crederà ch'io abbia la febbre, ora sono più calma, è meglio ricopiar bene questo e poi proseguire.

Ricopiando, non riusciva a capire certe parole, s'ostinava a tentare di decifrarle.

Mentre a quel modo s'accaniva, il silenzio della casa fu rotto da un breve scricchiolio. Ella alzò il capo ad ascoltare, il rumore non si ripeté. Ma di lì a poco ne nasceva un altro, come uno striscio, e si spegneva. Rosa s'accostò all'uscio a origliare. Le arrivò, lontano dal basso, un suono d'acqua come da un rubinetto, poi circolare sussurri indistinti: tutti i preludi, non c'è dubbio, al risveglio della casa. Impossibile uscire inosservata. Fosse anche possibile, certo ormai fuori è l'alba, la lettera non è pronta ancora, non c'è il tempo per finirla, vestirsi, uscire, arrivare alla buca prima che le levino. Rosa è atterrata, tutta vuotata e immobile: fin che poté mettersi a piangere. Alla coscienza severa si mescolava ora una nuova compassione di lei verso se stessa. Le impediscono di rimediare al suo fallo. Chi è tanto cattivo con lei? non c'è un Dio? o è lui tanto terribile? Ma la sommissione tornava a volgersi in disordinata rivolta: domani fuggirò, lui non saprà mai più niente di me, andrò per il mondo, sarò anch'io cattiva per tutta la vita, imparerò a bestemmiare. Così accasciata sul letto vaneggiava, fin che cadde in un lungo letargo immemore.

Se ne destò di colpo allo scampanare d'una torre vicina.

Non ebbe da principio che il senso d'uscire da un sogno confuso. La prima immagine chiara fu la memoria di quei gemiti del vento, ma ora non si sentiva più niente.

Continuando a ricordare, si guardò intorno, la colpì una luce intensa che contornava gli orli della finestra. Balzò giù e vi corse, la spalancò. Fu abbagliata di luce. La natura pacificata splendeva, brillavano gli alberi del monte e la nebbia leggera sulla pianura scintillava come un mare.

Rosa guardava e a mano a mano ritrovava tutti i momenti della sua avventura, se li raccontava come casi d'una persona amica con meraviglia e indulgenza. Si sentì bella, corse a guardarsi allo specchio e sorrise. "Che cosa dirà il mio amore quando gli racconterò la gran tragedia?"

Il mondo si faceva a ogni minuto più splendido. Rosa si scrollò tutta e desiderò d'avere una veste piena di campanelli.

Массимо Бонтемпелли. Фиалка

Роза пожелала хозяевам доброй ночи, взлетела по ступенькам в свою комнату и заперлась на ключ, чтобы никто не мог нарушить её уединения.

Когда дом затих, она села за письмо своему любимому: «Милый мой, сегодня мы весь день провели не дома, поэтому пишу тебе поздно вечером. Мы гуляли, ходили по гостям и просто дышали воздухом. В гостях мне было тошно, будто я уже умерла и лежу под землёй, зато на природе у меня словно вырастали крылья, и я парила под облаками, как ласточка или как ангел, а порой мне казалось, что и ты летишь со мной рядом, я знаю, что это всё выдумки, но мне было так хорошо, ты на меня не сердишься? Надеюсь, что нет, ведь я все эти счастливые мгновения берегу для тебя, а когда ты приедешь, уже ведь через одиннадцать дней и ещё почти половинка, то есть ровно через двести семьдесят три часа, я всё это счастье разделю с тобой! Особенно ясно я чувствовала, что ты рядом, когда мы проходили поля и углублялись в дубравы, леса тут дремучие, в них всегда темно и прохладно, как в храме, ветви сплетаются в сплошной полог, но я и сквозь него, сквозь завесу листьев мысленно улетала, как только представляла, что ты берёшь меня под руку, и мы летели над кронами дубов под открытым небом, там не было ни облачка, и свет струился со всех сторон. А потом ты внезапно пропадал, не скажешь, где тебя черти носили? И я враз сникала, так что даже друзья замечали и спрашивали: «Чего ты, Роза?» А я брела, понурившись, брела, и вдруг заметила, что в тени дубов уже проклюнулись фиалки: такие кустики, прямо на тропинках, настоящие букетики, и страшно растоптать ненароком, а другие прячутся у самых стволов, за выпирающими корнями, в лунках, где земли-то с пригоршню, и в каждой, как в гнездышке, новорождённые фиалки, одни потемнее, а другие совсем светлые, голубенькие. Ребята стали рвать цветы, а мне было так жаль эти фиалочки, но я стеснялась об этом сказать, тогда я сорвала одну и побежала, а все за мной, а о цветах и забыли, вот бы ты...»

Тут Розу пронзила неожиданная мысль, и она замерла на полуслове. Потом резко встала, отбросила ручку и взволнованно зашагала по комнате, досадуя на себя: «Что ж я не сообразила?!» Ей подумалось, как чудно было бы вложить этот цветочек в письмо, вот только он куда-то задевался, Роза то ли отдала его кому-то, то ли просто потеряла, теперь уж и не вспомнить. «Растяпа! Дурёха!», — укоряла она себя, всё больше распаляясь и едва сдерживая слёзы.

Но потом гнев её начал стихать, на смену ему пришла новая мысль, переросшая в решимость.

Роза вспомнила, что видела фиалки и по пути домой, совсем недалеко отсюда: они цвели по кромке ручья, сбегавшего с горы и петлявшего вдоль дороги. Она отлично помнила это место и нашла бы его даже ночью. Фиалок там была уйма, они льнули к берегу, тесня друг друга, как зеваки на ярмарке. «Вот сбегаяю и сорву», — засмеялась она, но тут же испугалась: столько сложностей таилось за этой простой фразой. Ей предстояло выйти из комнаты, спуститься по лестнице, отворить дверь, а ведь потом ещё обратно. Удастся ли сбегать бесшумно? А если кто-нибудь проснётся, начнётся переполох... Что сказать, если её застанут внизу? Девушка колебалась мучительно долго. Снова подняла письмо, перечитала последние слова, окинула взглядом пустой лист под ними, и белизна бумаги показалась пропастью. Пару минут Роза сидела, закрыв глаза, склонив голову и бессильно опустив руки, не решаясь ничего

предпринять. Затем рывком встала и вызывающе потрянула головой, будь что будет! Чего бы это ни стоило, чем бы ни грозило. Она вновь склонилась над листком и, не садясь за стол, быстро дописала: «Хотя знаешь, что? Я вложу в конверт фиалку, первую весеннюю фиалку, ведь это наша с тобой первая весна, представляешь? Я сейчас сбегая к тому ящичку для писем, что на углу, я тебе о нём уже рассказывала, их там вынимают на заре. Целую, как в тот день, даже крепче! Роза».

Она свернула листок, вложила его в заранее подписанный конверт, конверт спрятала на груди и двинулась к выходу.

Первый этап удался. Замок не щёлкнул, петли не скрипнули, дверь покорно, как послушный ребёнок, отворилась, а потом закрылась за ней, и Роза очутилась в кромешной тьме, впрочем, гостиную она знала как свои пять пальцев. Она вслушалась в тишину, исходящую от другой половины дома, где находились хозяйские комнаты: напоенная крепким сном звенящая тишина была такой давящей и неестественной, что девушка поёжилась, словно вот-вот должен грянуть гром. Но мало-помалу бешеный ритм её сердца выровнялся, тогда Роза на цыпочках, но быстро и уверенно подошла к лестнице. Рано радуешься, отважная душа, главные испытания ждут тебя впереди! Держась за поручень, шаг за шагом, она без труда спустилась на первый этаж (звук шагов тонул в ворсе ковра) и ступила в прихожую. Протянув руку, шагнула в неизвестность. Вот и большой стол, Роза прошла вдоль длинного края, ведя рукой по столешнице, повернула направо, ещё два шага, стоп: здесь должна быть входная дверь, вот и очертания видны, здесь чуть светлее, или просто глаза привыкли к темноте, где же задвижка?

Наконец Роза нащупала её и тихонько потянула: миллиметр, ещё миллиметр, готово. Вот и дверная ручка, прямо над замком, остаётся лишь взяться за неё, надавить, но тут девушка повернула голову и едва не закричала: её взгляд упал на одну из дверей, из-под которой пробивалась слабая полоска света. Она похолодела: за этой дверью кто-то проснулся. Услышал её, зажёт свет... Хотя нет, свет горит уже давно, потому-то здесь и светлее, но теперь он точно всё слышит, и стоит ей сделать хоть шаг... Сколько времени прошло в тягостном ожидании? Она не могла ни о чём думать, пальцы, уже сжавшие дверную ручку, онемели, отпустить её нельзя, хоть она и жжёт руку, толкнуть дверь — тем более, остаётся лишь ждать, вперив взгляд в эту полоску света, от которой уже болят глаза, кажется, этот режущий луч потустороннего света вот-вот оживёт... Но нет. Напротив, мать честная, пропал! Но ведь кто-то там, за дверью, погасил его, кто бы это мог быть? Теперь темнота невыносима, хочется закричать, только бы не оставаться наедине с этой мучительной тьмой, в трёх шагах от неведомого неспящего монстра. Хоть бы уж снова зажёт свет! Роза вздохнула бы с облегчением. Ну-ка, а это что, неужели чей-то голос? Из комнаты донёсся звук, да, но не голос: едва слышный и размеренный, это он так дышит? Медленно, протяжно, похоже, он заснул, вот оно что, значит, спит и похрапывает! У Розы отлегло от сердца, ручка перестала обжигать пальцы и сама собой повернулась. Час от часу не легче, Господи, она что, сама

открывается?! Нет, Роза, это ты её толкнула, и ты же прикрыла за собой, чувствуешь, как свеж ночной воздух, подними глаза, посмотри, какие звёзды!

Роза перевела дух, деревья на холме качнули кронами, приветствуя её, и снова всё смолкло. До ручья она добралась бегом, затем обернулась, окидывая взглядом дом, мрачный, как склеп. Дорога уходила вниз, петляя между двумя стенами, и исчезала за поворотом. Девушка жадно созерцала очертания окружающего мира, всё вокруг по-своему безмолвствовало: равнину заливала бледным светом луна, готовая выглянуть из-за горы, мрачные громады деревьев вдали едва не касались звёзд, небо укрывало спящую землю тёмным куполом, усыпанным звёздами, а в центре всего этого Роза одна-одинёшенька вдыхала ночные запахи.

Она уже ничего не боялась, не пугали её и редкие вздохи, долетавшие из самого сердца ночи, неуловимые и необъяснимые. А заслышав из-за дома грохот телеги, девушка даже обрадовалась: ей вдруг захотелось увидеть, как волы тащат тяжёлый воз, груженный сеном, услышать, как сидящий на облучке возница скажет что-нибудь... Но звук стал удаляться, и в стихающем шорохе колёс ей почему-то почудился шум прибоя. Она вслушивалась до последнего, а когда и отголоски стихли, вдруг заметила, что идёт вверх по дороге, безотчётно стремясь вдаль за этим шорохом. Тогда девушка свернула на каменистую тропку и дошла до края обрыва, откуда видна была другая долина. И вновь остановилась, засмотревшись: здесь ночь казалась ближе, снизу доносился плеск ручья, бегущего по каменистому руслу.

Наконец она вернулась на дорогу и медленно направилась вверх к ручью, во все глаза глядя по сторонам и дыша полной грудью; никогда раньше Роза не замечала, что дышать — это лучшее, что только может быть. Чувства захлестнули её, переполнили, она прижала руки к груди, словно силясь унять сердцебиение, и пальцы нащупали письмо. Она и так не забывала о нём, но сейчас, прикоснувшись к бумаге, со всей отчётливостью вспомнила, что собиралась сделать.

Тот поросший фиалками берег, вспомнилось ей, должен быть совсем рядом, чуть ниже. Она пустилась бежать с таким облегчением, будто запела песенку, теснившую грудь. Вот и нужное место. Девушка наклонилась и сразу наткнулась на цветы. В полумраке они казались темнее, некоторые опустили головы на листья и сонно смежили лепестки. Роза провела рукой по траве, и роса тоже показалась ей чем-то необычайным и восхитительным.

Она выбрала самую раскрывшуюся фиалку, поцеловала её, вложила в конверт, вновь перечитала адрес, а потом поспешила по тропинке обратно к дому и дальше — туда, где на углу висел почтовый ящик, там она ещё разок перечитала имя любимого и со вздохом опустила письмо в узкую прорезь.

Но по непонятной причине радости это не принесло, наоборот, на неё накатило какое-то странное опустошение. Роза медленно направилась назад.

Уже подойдя к дому, она вдруг с ужасом подумала, что кто-то мог проснуться. Остановилась, огляделась, но не заметила ничего необычного. Поёжилась и прислушалась к свисту ветра в листве. А что, если кто-нибудь спустился и запер дверь? С тяжелым сердцем она пошла дальше.

Внезапно небо просветлело, девушка подняла глаза и увидела, что из-за горы выскользнула луна, тонюсенькая четвертинка, а тёмные тучи уже спешили из глубины небес, чтобы перехватить беглянку. Роза зашагала быстрее, новый порыв ветра подтолкнул её, и оставшееся до дома расстояние она преодолела бегом. У порога девушка вновь замерла: не заперто. На секунду у неё отлегло от сердца, она протянула было руку к двери, но тут новое ужасное подозрение заползло в душу: а что, если, пока её не было, в дом забрался вор или даже целая шайка — хозяйка часто страшила её рассказами про ночных воришек. Тем временем облака затянули небо, луна скрылась совсем. Стуча зубами, Роза услышала, как ветер в кронах деревьев взвыл в голос. Не помня себя, она влетела внутрь и замерла, ожидая, когда успокоится сердце, а потом осторожно затворила дверь.

Добравшись до своей комнаты, девушка чуть было не захлопала в ладоши от облегчения и даже что-то сплясала на радостях, шлёпая босыми ногами по полу, потом шлёпнулась на пол сама и попыталась перекувыркнуться через голову, что не очень получилось. Спать не хотелось, и всё же она легла, погасила свет, и снова стала мечтать о своём любимом. Ветер за окном всё усиливался, Роза куталась в одеяло и думала: «Наверное, будет гроза», — а потом, — «вот бы он был сейчас со мной», — и медленно, засыпая, — «сидел бы на краешке кровати и...», — но и эту мысль она не закончила и провалилась в сон.

Снилась ей долина и дорожка, ведущая с холма вниз, Роза спускалась, спеша к своему милому, но то и дело замечала, что незнамо почему не спускается, а поднимается, и дорожка под ногами сменялась лестницей с ворсистым ковром, ступеньки вели вверх, петляя между двумя стенами, и исчезали за поворотом, девушка разворачивалась, чтоб всё-таки спуститься, и снова оказывалось, что она торопливо поднимается, еле переводя дух, и тут раздаётся голос её любимого: «Сама виновата!» Она оборачивалась и встречала его взгляд, мрачный как никогда, пыталась спросить: «О чём ты?», но он лишь повторял: «Сама виновата!», а когда Роза готова была разрыдаться, он внезапно разозлился и заорал: «Ты же топчешься по фиалкам!», дёрнул её за руку, и тут растущий рядом дуб треснул под напором ветра и рухнул туда, где она только что стояла. Раздался глухой треск, Роза в объятиях любимого вздрогнула и поняла, что лежит в постели, уже одна, но комнату потряс новый удар, и она поняла, что это ветер раскачивает ставни, и они глухо бьются о стены. С третьим ударом она выскользнула из-под одеяла, борясь со сном, и поспешила открыть окно.

Звёзд уже не было видно, в воздухе сгустилась тьма, порывы ветра трепали кроны деревьев. Роза снова захлопнула ставни, заперла их на задвижку и как следует закрыла окно, затем медленно вернулась к кровати, постояла, силясь понять, что её так гложет, откуда эта смутная тоска. «Что же стряслось? — думала она, забираясь под одеяло. — Может, с ним что-то случилось?» Чтобы отвлечься, она принялась перебирать в уме детали своего недавнего приключения, теперь всё казалось простым: ей ужасно понравилось гулять на свежем воздухе, среди этой тишины и покоя, интересно, где сейчас та телега?

Тяжеленная, наверняка далеко уехала, может, до самого неба, топчется там по звёздам...

Перед её взором пронеслась целая россыпь испуганных звёзд, они скатились к ней по горному хребту сверкающим звездопадом, окутали, подхватили, и вот она уже летит по небу, так просто, но где же любимый? «Родной мой, это будет наша первая весна, не пропадай, куда же ты?», — но он удалялся, не оборачиваясь («Сама виновата! Сама виновата!») и сжимая в руке открытый конверт, а у неё в ладони вдруг оказалась та самая растоптанная фиалка. С новым порывом ветра деревья качнулись, звёзды разбежались, и Роза очутилась у дома, перед закрытой дверью. Ей уже никогда не войти, вообще ни в один дом не войти, а ветер то толкал её в спину, то, наоборот, не давал приблизиться к этой наглухо закрытой двери. Вдруг сквозь щель над полом пробилась полоска света, Роза закричала: «Открой мне! Открой!» и проснулась от собственного крика. По щекам текли слёзы, она вытерла их кончиком одеяла, зажгла свет, снова погасила, опять зажгла.

«Почему он так со мной, чем я провинилась? Любимый мой, ненаглядный... Может, я мало написала? Вот бы ты приехал и всё мне объяснил. Когда же дойдёт это письмо? Эх, был бы ты сейчас со мной...»

Даже в полной тишине, идя вдоль изгороди, можно почувствовать, если за ней притаился недруг. Вот и Роза чувствовала, что кто-то сидит в засаде и того и гляди набросится на неё, ещё шаг, два, может, пять. Но и зная это, остановиться невозможно, и надо пройти этот шаг, или пять, или десять, пока поджидающий в засаде душегуб не выскочит.

— Ах, если б ты внезапно приехал, нет, лучше был бы ты здесь, когда я вернулась с улицы, такого страху натерпевшись: «От тебя не было вестей, и я приехал повидаться». — «Но как же, я же писала каждый день, а то и дважды на дню, вот и этой ночью тоже». — «Этой ночью?» — «Да, а в последнее письмо вложила фиалку, свежесорванную, самую красивую, я так и написала: «Первая весенняя фиалка»... Ох!..

Притаившийся за изгородью обидчик кинулся на девушку и огрел её по голове. («Сама виновата! Сама виновата!»). Вот что грызло тебя в глубине души и только сейчас выплыло наружу, вот что угнетало тебя исподтишка, а ты не могла понять, что это, лишь чуяла смутную тревогу, теперь всё ясно.

Она кубарем скатилась с кровати, вцепилась руками в волосы и застонала, даже завывала, не важно, ветер так бушует, что её рыдания всё равно никто не услышит, никто уже ничего во всём мире не слышит.

Сидя на полу, Роза с ужасающей ясностью осознала своё наивное злодеяние:

— «Первая весенняя фиалка». Я ведь так и написала. А это же ложь, обман. Это не она, сорванная нелепой ночью, только что, тайком, лишь бы скрыть свою забывчивость. По-настоящему первая фиалка была там, днём, я сорвала её на прогулке с друзьями, а потом так глупо потеряла. Что мне стоило сказать правду? А я соврала. Но я же не нарочно, я не подумала, я торопилась. Всё равно враньё. И ведь написала ещё: это будет наша первая весна, да уж,

весна нашей любви, она должна стать началом новой жизни, а в основе, получается, ложь, глупая увёртка. Она неминуемо омрачит и всю весну нашу, и любовь нашу, и всю нашу жизнь. Быстро же я начала тебе врать!

Муки совести сделались невыносимыми. Роза почувствовала, что они отразились и на лице её, изуродовав черты.

«Теперь, если он и решит меня простить, на меня уже без слёз не взглянешь, я страхолюдина. И ничего тут не поделаешь. Он так далеко. Побегать бы к нему, день и ночь мчаться, опередить это письмо, крикнуть из последних сил: «Не читай! Там всё неправда, я только потом поняла» и умереть у его ног, какое счастье!»

Отчаяние достигло пика, девушка встрепенулась, вскочила на ноги и бешено зашагала по комнате. Выйти опять на улицу, добраться до этого жуткого красного ящика, расколошматить его, сжечь, уничтожить этот ужас. Спокойно, Роза, не расходишь, надо подумать. А что, если написать ему ещё одно письмо? И утром же отправить? Нет, так не пойдёт, это-то будет уже в пути, он прочтёт его и целый день будет жить во лжи, я этого не допущу. Надо написать немедленно, всё рассказать, а потом спешить к ящику, успеть до выемки, и он хотя бы получит их одновременно. Точно, скорее!

Ноги подкашивались. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Заметила на столе стакан с водой и, чувствуя, что лицо пылает, вылила воду себе на голову. Затем, не утираясь, даже не отжав волосы, шлёпнулась на стул и дрожащими руками взяла листок. «Хороший мой!» — написала она с ходу и задумалась, судорожно подбирая слова. «Со мной случилось ужасное!» Нет, так он перепугается. Она разорвала лист. «Любимый, я совершила непоправимое!» Нет, так он бог знает что подумает, не дочитав. На третьем листе, поразмыслив как следует, она вывела: «Любимый, у меня тут вышла забавная история, но я очень переживаю». Вот, другое дело. «Когда я писала тебе предыдущее письмо, совсем недавно, хотя мне кажется, что прошла целая вечность, но на самом деле всего пара часов...» Она исписала целую страницу, пускаясь в ненужные объяснения, но всё ещё не добралась до жгущего душу обмана. Рука дрожала, буквы прыгали в разные стороны. «Так не пойдёт, — подумала она. — Решит ещё, что я не в себе. Лучше чуть-чуть успокоиться и переписать начисто».

Переписывая, она не могла разобрать некоторые слова, билась над ними, стараясь расшифровать и злясь всё пуще, пока тишину дома не нарушило лёгкое поскрипывание. Девушка подняла голову и прислушалась. Ничего. Но вскоре до неё долетело какое-то шарканье. Потом стихло и оно. Роза подошла к двери, прислушалась. Снизу донеслось журчание воды, словно кто-то открыл кран, потом приглушённый шёпот — первые вестники неминуемого пробуждения дома. Незаметно выйти уже не получится. Да если и получится, уже светает, а письмо не дописано, дописывать некогда, а надо ещё одеться, выйти, добежать до ящика, пока не забрали утреннюю почту. Руки у неё опустились, на Розу вдруг навалилось опустошающее отчаяние, и она разрыдалась. К мукам совести примешивалась жалость к себе. Ей не дают загладить вину. Почему судьба так жестока? Куда же смотрит Бог? Или это его козни? Но уныние вновь сменилось бурным протестом: завтра я убегу, он

больше ничего обо мне не узнает, буду бродяжничать, ненавидеть весь мир, сквернословить безбожно... Без сил опустившись на кровать, Роза ещё долго представляла в красках свою будущую жизнь, пока не забылась тяжёлым сном.

Проснувшись она от колокольного звона с ближней церквушки.

Поначалу ночное приключение показалось ей нелепым сном. Затем отчётливо вспомнились стоны ветра, но сейчас было тихо.

Роза огляделась, припоминая случившееся, с удивлением увидела ослепительные полосы света, обрамляющие закрытые ставни. Она соскочила с кровати, подбежала к окну, распахнула его и зажмурилась от яркого солнца. Стихшая природа лучилась: деревья на склонах сияли, лёгкая дымка в долине сверкала, как морская гладь.

Девушка любовалась пейзажем и мало-помалу восстанавливала в памяти полную картину давешнего приключения, дивясь и посмеиваясь, словно всё это происходило не с ней, а с какой-то знакомой. В этот момент Роза показалась сама себе настолько красивой, что метнулась к зеркалу и заулыбалась: «Что-то он скажет, когда услышит о моей великой беде?»

Мир с каждой минутой расцветал новыми красками. Роза потянулась всем телом и пожалела, что у неё нет платья со звенящими бубенцами.

*(Рассказ «Фиалка» из сборника новелл "L'amante fedele",
награжденного в 1953 г. премией «Стрега», Италия)*

Primo Levi. Angelica farfalla

Sedevano nella jeep rigidi e silenziosi: facevano vita comune da due mesi, ma fra loro non c'era molta confidenza. Quel giorno toccava al francese guidare. Percorsero il Kurfürstendamm sobbalzando sul selciato sconnesso, svoltarono nella Glockenstrasse aggirando di misura una colata di macerie, e la percorsero fino all'altezza della Magdalene: qui un cratere di bomba sbarrava la strada, pieno di acqua melmosa; da una conduttura sommersa il gas gorgogliava in grosse bolle vischiose.

– È più oltre, al numero 26, – disse l'inglese; – seguiamo a piedi.

La casa del numero 26 sembrava intatta, ma era quasi isolata. Era circondata da terreni incolti, da cui le macerie erano state sgomberate; già vi cresceva l'erba, e qua e là ne era stato ricavato qualche orto rachitico.

Il campanello non funzionava; bussarono a lungo invano, poi forzarono la porta, che cedette alla prima spinta.

Dentro c'era polvere, ragnatele e un odore penetrante di muffa. – Al primo piano, – disse l'inglese. Al primo piano trovarono la targhetta «Leeb»; le serrature erano due e la porta era robusta: resistette a lungo ai loro sforzi.

Quando entrarono, si trovarono al buio. Il russo accese una pila, poi spalancò una finestra; si udì una rapida fuga di topi, ma gli animali non si videro. La camera era vuota: non un mobile. C'era soltanto una rozza impalcatura, e due pali robusti, paralleli, che andavano orizzontalmente da una parete all'altra all'altezza di due metri dal pavimento. L'americano prese tre fotografie da diversi angoli e fece un rapido schizzo.

Per terra era uno strato di stracci immondi, cartaccia, ossa, penne, bucce di frutta; grosse macchie rossobrune, che l'americano raschiò attentamente con una lametta raccogliendone la polvere in un tubetto di vetro. In un angolo, un monticello di una materia indefinibile, bianca e grigia, secca: odorava di ammoniaca e di uova guaste e pullulava di vermi. – Herrenvolk! – disse il russo con disprezzo (fra loro parlavano tedesco); anche di questa sostanza l'americano prelevò un campione.

L'inglese raccolse un osso, lo portò presso la finestra e lo esaminò attentamente. – Di che animale sono? – chiese il francese. – Non so, – disse l'inglese: – mai visto un osso simile. Si direbbe di un uccello preistorico: ma questa cresta si trova soltanto... be', bisognerà farne una sezione sottile –. Nella sua voce c'era ribrezzo, odio e curiosità.

Radunarono tutte le ossa e le portarono nella jeep. Attorno alla jeep era una piccola folla di curiosi: un bambino vi era salito e frugava sotto i sedili. Come videro i quattro soldati, si allontanarono in fretta. Riuscirono a trattenerne solo tre: due uomini anziani e una ragazza. Li interrogarono: non sapevano niente. Il professor Leeb? Mai conosciuto. La signora Spengler, del piano terreno? Era morta nei bombardamenti.

Salirono sulla jeep e avviarono il motore. Ma la ragazza, che già si era voltata per andarsene, ritornò e chiese: – Avete sigarette? – Ne avevano. La ragazza disse: – Quando hanno fatto la festa alle bestiacce del professor Leeb, c'ero anch'io –. La caricarono sulla jeep e la portarono al Comando Quadripartito.

– Allora, era proprio vera, la storia? – fece il francese.

– Pare, – rispose l'inglese.

– Buon lavoro per gli esperti, – disse il francese palpando il sacchetto delle ossa; – ma anche per noi: adesso ci tocca stendere il rapporto, nessuno ce lo toglie. Sporco mestiere!

Hilbert era inferocito: – Guano, – disse. – Cos'altro volete sapere? Di che uccello? Andate da una chiromante, non da un chimico. Sono quattro giorni che mi rompo la testa sui vostri reperti schifosi: che mi possano impiccare se il diavolo stesso ne può cavare qualcosa di più. Portatemi altri campioni: guano di albatros, di pinguini, di gabbiani; allora potrò fare dei confronti, e forse, con un po' di fortuna, se ne potrà riparlare. Non sono uno specialista in guano, io. Quanto alle macchie sul pavimento, ci ho trovato dell'emoglobina: e se qualcuno mi chiede di che provenienza, finisco in fortezza.

– Perché in fortezza? – domandò il commissario.

– In fortezza, sí: perché se qualcuno me lo chiede, gli rispondo che è un imbecille, anche se è un mio superiore. C'è di tutto, là dentro: sangue, cemento, pipì di gatto e di topo, crauti, birra, la quintessenza della Germania, insomma.

Il colonnello si alzò pesantemente. – Per oggi basta, – disse. – Domani sera siete miei ospiti. Ho trovato un posto niente male, nel Grünewald, in riva al lago. Allora ne ripareremo, quando avremo tutti quanti i nervi un po' più distesi.

Era una birreria requisita, e ci si poteva trovare di tutto. Accanto al colonnello sedevano Hilbert e Smirnov, il biologo. I quattro della jeep erano ai due lati lunghi; in fondo alla tavola, stavano un giornalista e Leduc, del tribunale militare.

– Questo Leeb, – disse il colonnello, – era una strana persona. Il suo era un tempo propizio alle teorie, sapete bene, e se la teoria era in armonia coll’ambiente, non occorre molta documentazione perché venisse varata e trovasse accoglienza, anche molto in su. Ma Leeb, a modo suo, era uno scienziato serio: cercava i fatti, non il successo.

– Ora, non aspettatevi da me che vi esponga le teorie di Leeb per filo e per segno: in primo luogo perché le ho capite solo quanto può capirle un colonnello; e in secondo, perché, membro quale sono della Chiesa presbiteriana... insomma, credo in un’anima immortale, e tengo alla mia.

– Senta, capo, – interruppe Hilbert dalla fronte testarda, – senta. Ci dica quello che sa, per favore. Non per niente, ma dal momento che sono tre mesi ieri che tutti noi non ci occupiamo di altro... Mi pare giunto il momento, insomma, di sapere a che gioco si gioca. Anche per poter lavorare con un po’ più di intelligenza, capisce.

– È più che giusto, e d’altronde stasera siamo qui per questo. Ma non stupitevi se prendo le cose un po’ alla lontana. E lei Smirnov mi corregga se esco dal seminato.

– Dunque. In certi laghi del Messico vive un animaletto dal nome impossibile, fatto un po’ come una salamandra.

Vive indisturbato da non so quanti milioni di anni come se niente fosse, eppure è il titolare e il responsabile di una specie di scandalo biologico: perché si riproduce allo stato larvale. Ora, a quanto mi hanno fatto intendere, questa è una faccenda gravissima, un’eresia intollerabile, un colpo basso della natura ai danni dei suoi studiosi e legislatori. Insomma, è come se un bruco, anzi una bruca, una femmina insomma, si accoppiasse con un altro bruco, venisse fecondata, e deponesse le uova prima di diventare farfalla. E dalle uova, naturalmente, nascessero altri bruchi. Allora a cosa serve diventare farfalla? A cosa serve diventare «insetto perfetto»? Si può anche farne a meno.

– Infatti, l’axolotl ne fa a meno (così si chiama il mostriattolo, avevo dimenticato di dirvelo). Ne fa a meno quasi sempre: solo un individuo ogni cento o ogni mille, forse particolarmente longevo, un bel po’ di tempo dopo di essersi riprodotto, si trasforma in un animale diverso. Non faccia quelle smorfie, Smirnov, oppure parli lei. Ognuno si esprime come può e come sa.

Fece una pausa. – Neotenia, ecco come si chiama questo imbroglio: quando un animale si riproduce allo stato di larva.

La cena era finita, ed era giunta l’ora delle pipe. I nove uomini si trasferirono sulla terrazza, e il francese disse: – Va bene, è tutto molto interessante, ma non vedo il rapporto che...

– Ci stiamo arrivando. Resta ancora da dire che su questi fenomeni, da qualche decennio, pare che loro – (e accennò con la mano dalla parte di Smirnov) – riescano a mettere le mani, a pilotarli in certa misura. Che, somministrando agli axolotl estratti ormonali...

– Estratto tiroideo, – precisò Smirnov di mala voglia.

– Grazie. Estratto tiroideo, la muta avvenga sempre.

Avvenga cioè prima della morte dell’animale. Ora, questo è quanto Leeb si era fitto in capo. Che questa condizione non sia così eccezionale come sembra: che altri animali, forse molti, forse tutti, forse anche l’uomo, abbiano qualcosa in serbo, una

potenzialità, una ulteriore capacità di sviluppo. Che al di là di ogni sospetto, si trovino allo stato di abbozzi, di bruttecopie, e possano diventare «altri», e non lo diventino solo perché la morte interviene prima. Che, insomma, neotenici siamo anche noi.

– Su quali basi sperimentali? – fu chiesto nel buio.

– Nessuna, o poche. È agli atti un suo lungo manoscritto: una ben curiosa mistura di osservazioni acute, di generalizzazioni temerarie, di teorie stravaganti e fumose, di divagazioni letterarie e mitologiche, di spunti polemici pieni di livore, di rampanti adulazioni a Persone Molto Importanti dell'epoca. Non mi stupisce che sia rimasto inedito. C'è un capitolo sulla terza dentizione dei centenari, che contiene anche una curiosa casistica di calvi a cui i capelli sono rispuntati in tardissima età. Un altro riguarda la iconografia degli angeli e dei diavoli, dai Sumeri a Melozzo da Forlì e da Cimabue a Rouault; contiene un passo che mi è parso fondamentale, in cui, al suo modo insieme apodittico e confuso, ma con insistenza maniaca, Leeb formula l'ipotesi che... insomma, che gli angeli non sono una invenzione fantastica, né esseri soprannaturali, né un sogno poetico, ma sono il nostro futuro, ciò che diventeremo, ciò che potremmo diventare se vivessimo abbastanza a lungo, o se ci sottoponessimo alle sue manipolazioni. Infatti, il capitolo successivo, che è il più lungo del trattato e di cui ho capito assai poco, si intitola *I fondamenti fisiologici della metempsychosi*. Un altro ancora contiene un programma di esperienze sulla alimentazione umana: un programma di tale respiro che cento vite non basterebbero a realizzarlo. Vi si propone di sottoporre interi villaggi, per generazioni, a regimi alimentari pazzeschi, a base di latte fermentato, o di uova di pesce, o di orzo germinante, o di poltiglia di alghe: con esclusione rigorosa della esogamia, sacrificio (proprio così sta scritto: «Opferung») di tutti i soggetti a sessant'anni, e loro autopsia, che Dio lo perdoni se può. C'è anche, in epigrafe, una citazione dalla Divina Commedia, in italiano, in cui è questione di vermi, di insetti lontani dalla perfezione e di «angeliche farfalle». Dimenticavo: il manoscritto è preceduto da una epistola dedicatoria, indirizzata sapete a chi? Ad Alfred Rosenberg, quello del *Mito del xx secolo*, ed è seguito da una appendice in cui Leeb accenna ad un lavoro sperimentale «di carattere più modesto» da lui avviato nel marzo 1943: un ciclo di esperienze a carattere pionieristico e preliminare, tanto da poter essere svolto (con le dovute cautele per la segretezza) in un comune alloggio civile. L'alloggio civile che a tale scopo gli fu concesso era situato al numero 26 della Glockenstrasse.

– Mi chiamo Gertrud Enk, – disse la ragazza. – Ho diciannove anni, e ne avevo sedici quando il professor Leeb installò il suo laboratorio nella Glockenstrasse. Noi abitavamo di fronte, e dalla finestra si potevano vedere diverse cose. Nel settembre 1943 arrivò una camionetta militare: ne scesero quattro uomini in divisa e quattro in borghese. Erano molto magri e non alzavano il capo: erano due uomini e due donne.

– Poi arrivarono varie casse, con su scritto «Materiale di guerra». Noi eravamo molto prudenti, e guardavamo solo quando eravamo sicuri che nessuno se ne accorgesse, perché avevamo capito che c'era sotto qualcosa di poco chiaro. Per molti mesi non capitò più niente. Il professore veniva solo una o due volte al mese; solo, o con militari e membri del partito. Io ero molto curiosa, ma mio padre diceva sempre:

«Lascia andare, non occuparti di quanto capita là dentro. Noi tedeschi, meno cose sappiamo, meglio è». Poi vennero i bombardamenti; la casa del numero 26 restò in piedi, ma due volte lo spostamento d'aria sfondò le finestre.

– La prima volta, nella camera al primo piano si vedevano le quattro persone coricate per terra su dei pagliericci. Erano coperte come se fosse inverno, mentre invece, in quei giorni, faceva un caldo eccezionale. Sembrava che fossero morti o dormissero: ma morti non potevano essere perché l'infermiere lì accanto leggeva tranquillamente il giornale e fumava la pipa; e se avessero dormito, non si sarebbero svegliati alle sirene del cessato allarme?

– La seconda volta, invece, non c'erano più né pagliericci né persone. C'erano quattro pali messi per traverso a mezza altezza, e quattro bestiacce posate sopra.

– Quattro bestiacce come? – chiese il colonnello.

– Quattro uccelli: sembravano avvoltoi, per quanto io gli avvoltoi li abbia visti solo al cinematografo. Erano spaventati, e facevano dei versi terrificanti. Sembrava che cercassero di saltare giù dai pali, ma dovevano essere incatenati, perché non staccavano mai i piedi dagli appoggi. Sembrava anche che si sforzassero di prendere il volo, ma con quelle ali...

– Come avevano le ali?

– Ali per modo di dire, con poche penne rade. Sembravano... sembravano le ali dei polli arrosto, ecco. Le teste non si vedevano bene, perché le nostre finestre erano trop-

po in alto: ma non erano niente belle e facevano molta impressione. Assomigliavano alle teste delle mummie che si vedono nei musei. Ma poi arrivò subito l'infermiere, e tese delle coperte in modo che non si potesse guardare dentro. Il giorno dopo le finestre erano già state riparate.

– E poi?

– E poi più niente. I bombardamenti erano sempre più fitti, due, tre al giorno; la nostra casa crollò, tutti morirono salvo mio padre e io. Invece, come ho detto, la casa del numero 26 rimase in piedi; morì solo la vedova Spengler, ma in strada, sorpresa da un mitragliamento a bassa quota.

– Vennero i russi, venne la fine della guerra, e tutti avevano fame. Noi ci eravamo fatta una baracca là vicino, e io me la cavavo alla meglio. Una notte vedemmo molta gente che parlava in strada, davanti al 26. Poi uno aprì la porta, e tutti entrarono spingendosi uno coll'altro. Io allora dissi a mio padre: «vado a vedere cosa succede»; lui mi faceva il solito discorso, ma io avevo fame e andai. Quando arrivai su era già quasi finito.

– Finito che cosa?

– Gli avevano fatto la festa, con dei bastoni e dei coltelli, e li avevano già fatti a pezzi. Quello che era in testa a tutti doveva essere l'infermiere, mi è parso di riconoscerlo; e poi era lui che aveva le chiavi. Anzi, mi ricordo che a cose finite si prese la briga di richiudere tutte le porte, chissà perché: tanto dentro non c'era più niente.

– Che ne è stato del professore? – chiese Hilbert.

— Non si sa con precisione, — rispose il colonnello. — Secondo la versione ufficiale, è morto, si è impiccato all'arrivo dei russi. Io però sono persuaso che non è vero: perché gli uomini come lui cedono solo davanti all'insuccesso, e lui invece, comunque si giudichi questa sporca faccenda, il successo lo ha avuto. Credo che, cercando bene, lo si troverebbe, e forse non tanto lontano, credo che del professor Leeb si risentirà parlare.

Примо Леви. Нетленный мотылёк¹³ (1961-1966 гг.)

Они сидели в джипе, не говоря ни слова и не глядя друг на друга. Вот уже два месяца они жили бок о бок, но друзьями так и не стали. В этот раз за рулем сидел француз. Автомобиль миновал бульвар Курфюрстендамм, трясаясь на выбоинах мостовой, обогнул по широкой дуге обломки какого-то здания и свернул на Глокенштрассе. У церкви Марии Магдалины путь им преградила воронка от бомбы, полная вязкой жижи; на поверхности лопались пузыри удушливых испарений от затопленного газопровода.

— Нам дальше, дом 26, — сказал англичанин. — Придётся пешком.

Дом номер 26 уцелел, едва ли не один в округе. Завалы вокруг него разобрали, пустырь уже начал зарастать травой, а кое-где виднелись и чахлые грядки.

Звонок не работал; они долго и безуспешно стучали, затем выломали дверь — та поддавалась с первого же удара. В доме царили пыль, паутина и всепроникающий запах затхлости.

— На второй этаж, — скомандовал англичанин.

На втором этаже обнаружилась табличка с фамилией «Лееб». Дверь здесь была с двумя замками и покрепче и держалась под их напором подольше.

Они вошли и оказались в кромешной тьме. Русский зажёл фонарик, затем распахнул окно; послышался торопливый топот невидимых мышиных лап. Мебели в комнате не было — лишь грубо сколоченный стеллаж да два крепких бруса, тянувшихся над их головами от стены к стене. Американец трижды щёлкнул фотоаппаратом, снимая помещение с разных ракурсов, и схематично зарисовал комнату.

Пол покрывал слой грязного тряпья, тут и там валялись обрывки бумаг, кости, перья и ошмётки фруктов. Кое-где темнели красновато-бурые пятна, американец тщательно соскрёб их лезвием и собрал порошок в стеклянную пробирку. В углу они обнаружили серовато-белую грудку какой-то трухи непонятного происхождения, она кишела червями и источала запах аммиака и тухлых яиц.

¹³ Отсылка к «Божественной комедии» Данте Алигьери:

«Вам невдомёк, что только черви мы,
В которых зреет мотылёк нетленный,
На божий суд взлетающий из тьмы!»

(Чистилище, песнь X, 124-126, перевод М.Лозинского) (Здесь и далее прим. перев.).

— Herrenvolk¹⁴! — процедил русский сквозь зубы (между собой они разговаривали по-немецки). Американец взял образцы и этого вещества. Англичанин поднял кость, подошёл с ней к окну и взгляделся в находку.

— Что это за животное? — спросил француз.

— Не знаю, — ответил англичанин, — никогда таких не видел. Похоже на кость какой-то первобытной птицы, но такой гребешок есть только у... хотя надо взять срез на анализ, — в его голосе боролись брезгливость, злость и любопытство.

С мешочком костей они вернулись в джип. Вокруг машины уже собралась толпа зевак: какой-то мальчуган забрался в салон и шарил под сиденьями. Завидев четверых солдат, толпа бросилась врассыпную, задержать удалось лишь троих: двух пожилых мужчин и девушку. Расспросы ни к чему не привели. Профессор Лееб? Нет, не знаем. Фрау Шпенглер с первого этажа? Она погибла при артобстреле.

Когда солдаты завели машину и уже забрались внутрь, девушка, собравшаяся было уходить, вдруг повернулась и спросила:

— У вас не найдётся сигаретки?

Сигареты нашлись.

— Я была там, — сказала она, закуривая. — Когда забивали животных профессора Лееба, я там была.

В военный комиссариат девушка поехала с ними.

— Правду, что ли, говорят? — спросил француз.

— Похоже на то, — отозвался англичанин.

— Будет работёнка экспертам, — француз ощупал пакетик с костями, — да и не им одним: теперь и нам отчёт писать, не отвертеться. Чёртова служба!

Гилберт рвал и метал:

— Птичий помёт! Что ещё вы хотите узнать? Какой именно птицы? Это вам к гадалке, а не к химику. Я уже четыре дня бьюсь над вашими мерзкими образцами, и пусть меня вздернут на виселице, если сам дьявол тут смог бы накопать что-то большее. Принесите ещё помёта: альбатросьего, пингвиного, бакланьего, хоть будет с чем сравнить, вот тогда, если повезёт, вернёмся к этому разговору. Я вам не помётвед. Что до пятен с пола — там я обнаружил гемоглобин и пойду под трибунал, если кто-нибудь спросит, чья это кровь!

— Почему под трибунал? — не понял комиссар.

— Потому что если кто-то задаст такой вопрос, я этому идиоту выскажу всё, что о нём думаю, будь он хоть мой непосредственный начальник. Там чего только нет: кровь, цемент, кошачья моча, мышинные экскременты, кислая капуста, пиво — квинтэссенция Германии, одним словом.

Полковник тяжело поднялся:

— Ну, будет на сегодня, — сказал он. — Завтра жду вас к себе в гости. Я нашёл неплохое местечко в Грюневальде на берегу озера. Там мы немного остынем и поговорим обо всём спокойно.

¹⁴ «Раса господ» (нем.).

В конфискованной военными пивной всего было вдоволь. Рядом с полковником сидели Гилберт и биолог Смирнов. Четверо из джипа устроились по обе стороны от них, а места у дальнего края стола заняли Ледюк из военного трибунала и журналист.

— Этот Лееб был престранной личностью, — начал полковник. — В то время страной правили идеи, сами знаете, и если идея попадала на благодатную почву, её подхватывали и принимали на ура даже в высших эшелонах власти. Но Лееб был в своём роде настоящим ученым: его интересовали результаты, а не признание.

Не ждите, что я разложу вам по полочкам все идеи Лееба. Прежде всего потому, что я простой полковник и не очень-то в этом смыслю, к тому же я принадлежу к пресвитерианской церкви... одним словом, верю в бессмертие души и дорожу своей.

— Знаете что, — перебил его Гилберт, хмурясь, — не морочьте нам головы, расскажите, что знаете. Не любопытства ради, мы же три с лишним месяца бьёмся только над этим... Мне кажется, давно пора открыть карты. Для пользы дела, само собой, не мешает знать, с чем работаешь.

— Вы абсолютно правы, мы здесь для того и собрались. Но не удивляйтесь, если начну я издалека. А вы, Смирнов, поправляйте меня, если я слишком уж отклонюсь от темы.

Так вот. В некоторых мексиканских озёрах водится такая зверушка, название и не выговоришь, чем-то похожа на саламандру. Живёт себе бог знает сколько миллионов лет как ни в чём не бывало, а меж тем из-за неё разразился скандал в научных кругах, потому что она размножается в стадии личинки. Насколько я понял, это настоящий переворот в биологии, невозможная ересь, оплеуха природы всем своим исследователям и знатокам. В общем, примерно как гусеницы вздумали бы спариваться, оплодотворять друг друга и откладывать яйца, не становясь бабочками. А из яиц, само собой, выходили бы новые гусеницы. Зачем тогда вообще превращаться в бабочку? Зачем становиться «прекрасным насекомым»? Если можно обойтись и без этого.

Ну и вот, аксолотль (так зовут нашего монстрика, я забыл сказать) обходится без этого, практически всегда. Может, один из ста или из тысячи, редкий долгожитель, давным-давно выйдя из репродуктивного возраста, вдруг превратится в другое животное. И нечего так морщиться, Смирнов, или рассказывайте сами. Каждый изъясняется, как умеет.

Он помолчал и добавил:

— Неотения, так называют эту причуду природы: когда животное размножается в стадии личинки.

Ужин подошёл к концу, присутствующие достали трубки. Девять мужчин переместились на террасу, и француз сказал:

— Ладно, это всё очень занятно, но я не вижу связи...

— Погодите, мы ещё дойдём до сути. Я не сказал, что уже несколько десятилетий они, — он кивнул на Смирнова, — возятся с этим феноменом и научились в какой-то мере им управлять. Они вводят аксолотлям гормональные экстракты...

— Экстракт щитовидной железы, — нехотя уточнил Смирнов.

— Да-да, спасибо, экстракт щитовидной железы. И искусственно запускают метаморфоз. То есть животное при жизни проходит полный цикл развития. Так вот этой-то идеей и загорелся Лееб. Он решил, что явление неотении не такое редкое, как кажется: что и другие животные, может, многие, может, все, может, и человек в их числе, имеют некий запас, потенциал, возможность дальнейшего развития. Что, вопреки устоявшемуся мнению, мы лишь заготовки, черновые варианты, и можем «развиться», но просто-напросто не успеваем, смерть приходит раньше. Короче говоря, неотения распространяется и на нас.

— Это на базе каких-то исследований? — спросили его из темноты.

— Нет, доказательств практически нет. Он изложил эту теорию в своей фундаментальной монографии: любопытнейшая смесь метких наблюдений, поспешных выводов, экстравагантных и запутанных идей, лирических и мифических отступлений, язвительных и спорных заявлений и лакейских заискиваний перед тогдашними «хозяевами жизни». Неудивительно, что рукопись так и не опубликовали. В одной из её глав повествуется о третьей смене зубов у столетних стариков, там же есть и любопытные данные о лысых, у которых в почтеннейшем возрасте вновь выросла шевелюра. Ещё одна глава посвящена иконографии ангелов и дьяволов, от Шумеров¹⁵ до Мелоццо да Форли¹⁶ и от Чимабуэ¹⁷ до Руо¹⁸. В ней содержится мысль, которая мне кажется основополагающей в его рукописи: в свойственной ему манере, предельно ясно и невразумительно одновременно, с маниакальным упорством Лееб формулирует гипотезу... в общем, он считает, что ангелы — никакая не выдумка, не фантастические создания, не высшие существа и не поэтический вымысел, а наша следующая стадия, то, чем мы станем или могли бы стать, если бы жили достаточно долго или подвергались его терапии. Более того, следующая глава, самая длинная во всём трактате, из которой я мало что понял, называется «физиологические предпосылки реинкарнации». А ещё в одной разработана экспериментальная программа питания для человечества: настолько масштабная, что и ста жизней не хватит, чтобы её воплотить. Предлагается проводить безумные пищевые эксперименты над целыми селениями на протяжении нескольких поколений. Например, кормить подопытных только ферментированным молоком, или только рыбьей икрой, или пророщенным ячменём, или кашицей из водорослей. Всё это вкупе с полным запретом экзогамии, принесением в жертву (он именно так и писал: «Opferung») всех особей в шестьдесят лет и их вскрытием, да простит его Бог, если сможет. Он даже цитату из «Божественной комедии» на итальянском взял эпитафией, про то, что мы черви, далёкие от совершенства насекомые, и про «нетленных мотыльков». Да, и ещё: в начале рукописи стоит посвящение,

¹⁵ Древнейшая цивилизация, обитавшая в районе Месопотамии около четырёх тысяч лет назад.

¹⁶ Итальянский живописец XV века.

¹⁷ Итальянский живописец XIII века.

¹⁸ Французский живописец XX века.

знаете, кому? Альфреду Розенбергу¹⁹, автору «Мифа двадцатого века»²⁰. А в конце приписка, где Лееб упоминает о «весьма скромном научном эксперименте», начатом им в марте сорок третьего: ряд неординарных пробных опытов для отладки процедуры, по его словам, их можно было проводить в обычном гражданском помещении, хоть и со всеми необходимыми мерами по соблюдению секретности. И такое помещение ему предоставили — дом номер 26 по Глокенштрассе.

— Меня зовут Гертруда Энк, — сказала девушка. — Сейчас мне девятнадцать, а когда профессор Лееб основал свою лабораторию на Глокенштрассе, было шестнадцать. Мы жили через дорогу и кое-что видели из окна. В сентябре сорок третьего к дому напротив подъехало четверо солдат на грузовичке. Они привезли четверых в штатском — двух женщин и двух мужчин — худющих и забитых.

Затем привозили разные ящики с надписями «военное снаряжение». Мы не лезли на рожон и выглядывали, только когда знали, что снизу нас не увидят, — понимали, что творится что-то странное. Потом несколько месяцев ничего не происходило, профессор заезжал раз или два в месяц, то один, то с кем-то из военных или партийных. Мне всё было интересно, но папа всегда говорил: «Оставь, какая тебе разница, что там происходит? В нашей стране чем меньше знаешь, тем лучше». А потом начались бомбёжки, двадцать шестой дом устоял, но окна там два раза выбивало взрывной волной.

В первый раз я увидела этих четверых на втором этаже, они лежали на соломенных подстилках прямо на полу, укутанные до подбородка, как зимой, а жара в те дни стояла страшная. Казалось, они спят. Или мертвы. Только этого не могло быть, потому что рядом с ними медбрат спокойно читал газету и курил трубку. А спать разве можно так крепко, чтоб не проснуться от воя сирен?

Зато во второй раз в комнате уже не было ни людей, ни подстилок, только четыре балки поперёк комнаты, и на каждой сидело по какому-то существу.

— Что за существа? — заинтересовался полковник.

— Четыре птицы. Похожие на грифов, хотя я грифов только в кино видела. Они были напуганы и так кричали, что кровь стыла в жилах. И будто пытались спрыгнуть с этих балок, но, по-моему, их к ним приковали, потому что ни один так и не оторвал лап. И ещё казалось, что они пытаются взлететь, но с такими крыльями...

— А что у них было с крыльями?

— «Крылья», наверное, не то слово, на них и перьев-то почти не было. Похожие... похожие... на крылья жареных цыплят, вот на что. Голов я с высоты не разглядела как следует, но было в них что-то уродливое, жуткое зрелище. Как мумии в музеях. Потом прибежал медбрат, занавесил окна простынями, и

¹⁹ Немецкий государственный деятель, один из главных идеологов нацизма.

²⁰ Книга, излагающая доктрины нацизма и обосновывающая превосходство арийской расы над другими.

что было дальше, я не видела. А на следующий день они уже вставили новые окна.

— А потом что?

— А всё. Бомбили нас всё чаще, по два-три раза в день, наш дом взорвали, все, кроме меня и папы, погибли. А двадцать шестой дом устоял, я уже говорила. Только вдова Шпенглер погибла, но она была на улице, когда начался артобстрел, и её расстреляли из пулемёта почти в упор.

А потом пришли русские, война закончилась, настали голодные времена. Мы выстроили барак тут, недалеко, перебивались чем могли. Как-то вечером мы заметили, что у двадцать шестого дома собирается народ. Потом кто-то открыл дверь, все заторопились внутрь. Я сказала папе: «Пойду, посмотрю, что там». Он, как обычно, начал меня отговаривать, но есть очень хотелось, и я пошла. Когда я попала в этот дом, почти всё уже было кончено.

— Что кончено?

— Они их всех перебили, дубинками и ножами, на мелкие кусочки покромсали. Возглавлял группу как будто тот самый медбрат, мне показалось, что я его узнала, да и потом, у него же были ключи. Точно, я вспомнила, когда всё закончилось, он даже не поленился опять закрыть все двери, уж не знаю, зачем, там ничего не осталось.

— А что стало с самим профессором? — спросил Гилберт.

— Точно неизвестно, — ответил полковник. — По официальной версии он покончил с собой, повесился, когда в город вошли русские. Но я в это не верю: такие, как он, пасуют только перед лицом неудачи, а он в этой своей грязной затее, как к ней ни относишься, весьма преуспел. Думаю, если хорошенько поискать, его можно было бы найти, может и совсем недалеко отсюда. Думаю, мир ещё услышит о профессоре Леебе.

Перевод вошел в финал Конкурса молодых переводчиков художественной литературы «1917–2017» (Дом национальных литератур при Литературном институте имени А. М. Горького, Москва)

Stefano Benni. Notte d'estate

Quando arriva agosto, il bar si trasforma. Diventa il bar di quelli che restano in città: i freni inibitori s'allentano.

L'estate più famosa fu quella del '68. Era così caldo che i coccodrillini scappavano dalle magliette e andavano a tuffarsi nelle granite al tamarindo. Antonio, il barista, serviva inappuntabile in giacca bianca e stricchetto, ma girando dietro il bancone lo si poteva scoprire in mutande, con le gambe a mollo in un secchio d'acqua. Si bevevano litri di bibite ghiacciate, e le pance si spostavano con rumore di risacca. Nel cielo, una luna allucinante incitava alla pazzia. Ogni tanto s'alzava il grido «Andiamo a mangiare il pesce», ma nessuno aveva la forza di alzarsi dalla sedia. Fioccavano le scommesse: autoambulanze andavano e venivano caricando i vincitori delle gare di birra. Poluzzi, in canottiera e bermuda, trasbordava a servizio

continuo cocomeri, dalla bancarella al bar, con una carriola. L'unico soddisfatto era il nonno da bar, che ben avvolto nella giacca di fustagno, col basco fuso dal calore che gli colava in testa come uno stracchino, diceva che quel clima gli ricordava la guerra d'Africa, e sparava ai passanti con la pipa.

Passò Pinotti, in slip e occhiali neri, dentro a un cinquecento con le portiere saldate, pieno d'acqua fino al cruscotto. «Vi piace? Lo brevetto!» disse, sgasò e si allontanò beccheggiando.

Da una finestra del quarto piano un vecchietto in pigiama calò una bottiglia con un messaggio. C'era scritto: «Aiuto. Sono andati tutti al mare e mi hanno lasciato solo. Scorte di vino esaurite. Non so aprire il frigorifero. Datemi da bere. Allego mille lire. Stop.» Spedimmo su, via canestrino, del Pinot grigio a temperatura artica, e dopo qualche minuto lo sentimmo cantare. Nel buio ululavano cani e televisori.

Passò Elvira, lire tremila, che aveva lasciato la sua trincea di via Irnerio, e mangiava un mottarello, tanto per tenersi in allenamento. Il gatto del bar miagolava disperatamente per farsi tosar. Verso le tre arrivò dall'Adriatico una folata di vento, portando con sé un delizioso odore di pizza ai funghi, alghe marce e spray solare. Tutti chiudemmo gli occhi sognando, e Antonio ci fece il rumore delle onde con lo shaker.

«Che bello» disse Cocosecco, «che atmosfera», e cominciò a declamare una poesia da spiaggia:

"E' stato smarrito un bambino
con un costumino blu
risponde al nome di Pino
i genitori, o comunque gli interessati
sono pregati..."

Fu interrotto da un rombo spaventoso: sul bar piombò la pattuglia acrobatica delle zanzare di Comacchio, che si esibì in una applaudita serie di figurazioni. Al termine della «bomba», uno zanzarone con i gradi di colonnello passò tra i tavoli assaggiandoci. Giunto a 57 Cocosecco, fece schioccare la lingua e urlò: «Questo ha il sangue dolce!». Le altre piombarono addosso al poveretto e lo riempirono di ponfi come un mandorlato. S'allontanarono sbandando e cantando canzonacce militaresche.

A questo punto Carlo il muratore, nel silenzio del Ferragosto, si portò in mezzo alla strada deserta e con le mani a imbuto intonò. «Lanzariiiiiiii!».

Da porta Sant'Isaia, all'altro lato della città, attraversando nove chilometri di buio notturno, giunse la risposta:

«Siiiiiiiiii?».

«Dormiii?»

«No, ho troppo caldo» rispose Lanzarini.

«Vieni a bere qualcosa?»

«Vengo io!» gridò il vecchietto del quarto piano, e si calò dalla finestra con un lenzuolo.

«Vengo anch'io» fecero eco un centinaio di voci, tutte le luci si accesero, i catenacci scroccarono, e una marea di persone in pigiama invase la strada.

All'alba, quando il barista fece i conti, aveva in cassa dodici milioni in contanti, cambiali e fedeli nuziali. Il cocomeraio, prese l'incasso e la sera stessa rilevò il 40%

dell'I.B.M. L'Elvira, che aveva fiutato il paglione e s'era buttata in mezzo gridando «sconti comitive!», mise su una boutique e un negozio d'estetista.

Noi ci trovammo in quattro a giocare a dadi nella vasca da bagno di Gubbicoli, Rapezzi svitò il Nettuno e lo portò all'ingresso della casa di Cocosecco, Grandini pisciò quattro damigianini di amarena, e il nonno sfidò il suo coetaneo del quarto piano ad andare di corsa a San Luca e ritorno.

Tornarono ai primi di settembre, ma ormai la situazione si era normalizzata e qualcuno, qualcuno di quelli che erano stati in vacanza, vedendoli sprintare in mutande si permise di dire «che generazione!». Il nonno non lo degnò di uno sguardo, e tagliò il traguardo a braccia alzate, in un gesto di trionfo.

Стефано Бенни. Летняя ночь

С наступлением августа бар преобразается. Горожане разъезжаются на каникулы, остаются лишь местные, и все ведут себя раскованней.

Самым памятным выдалось лето 68-го. Стояла такая жара, что вышитые крокодильчики срывались с рубашек и ныряли в бокалы тамариндового шербета. Бармен Антонио маячил за стойкой в безупречном наряде: белый пиджак и бабочка, ниже стойки — трусы и голые ноги в тазу с водой. Напитки со льдом лились рекой, в надутых животах булькал прибой. Шальная луна будоражила умы. Время от времени раздавалось: «Айда со мной есть рыбу!», но никто не находил в себе сил оторваться от стула. Повсюду заключались пари, скорые сновали туда-сюда, увозя победителей пивных конкурсов. Полуци в майке и бермудах с тачкой в руках едва поспевал подвозить к бару арбузы. Блаженствовал лишь старейший завсегдатай бара. Закутавшись в кашемировую курточку и надвинув на глаза берет, расплзающийся от жары, как расплавленный сыр, он приговаривал, что такой климат напоминает ему об итало-эфиопской войне, и палил по прохожим из трубки.

Проехал Пинотти на своей малолитражке, в плавках и тёмных очках. За запаянными дверями плескалась вода, омывая приборную панель. «Как вам? Хочу запатентовать!» — он газанул и унёсся, покачиваясь на волнах.

Из окна пятого этажа старичок в пижаме спустил послание в бутылке: «Помогите. Все уехали на море. Меня бросили. Вино кончилось. Не могу открыть холодильник. Пришлите чего-нибудь попить. Тысячу лир прилагаю. Тчк». Ему выслали баклажку ледяного вина, и через пару минут сверху донеслось пение. В ночи завывали собаки и телевизоры.

Прошла Эльвира-три-тысячи-лир, она оставила свои боевые позиции на виа Ирнерио, но посасывала мороженку, чтоб не отвыкать. Местный кот истошно мяукал, моля о короткой стрижке. Ближе к трём с Адриатики потянуло свежестью, пиццей с грибами, гнилыми водорослями и спреем для загара. Все блаженно закрыли глаза, а Антонио воссоздал плеск волн шейкером.

«М-м-м, какой воздух, — мечтательно произнёс Кокосекко. — Дышите глубже!» и начал декламировать что-то из пляжного фольклора:

«Потерялся ребёнок,
В синих плавках с дельфином,
Откликался на «Пино».
Ненормальную мать
Или тех, кто желает забрать...»

Его прервал ужасающий гул: на бар обрушилась авиационная группа комаров из Комаккьо, демонстрирующая фигуры высшего пилотажа под аплодисменты всех присутствующих. После коронного номера старший группы, комар-полковник, выйдя из штопора, лично прошёлся от стола к столу, пробуя каждого на вкус. Облобызав Кокосекко, он смачно облизнулся и заключил: «Вот у кого кровушка-то сладкая!» Комары как по команде навалились на беднягу и зацеловали его до полусмерти. Удалялись они, покачиваясь и распевая похабные песни.

В этот момент каменщик Карло, выйдя на середину улицы и сложив руки рупором, разорвал августовское безмолвие воплем: «Ландзари-и-и-ини-и-и!»

С другого конца города, прорезав девять километров ночной тишины, от Порта-Сант-Исайя донеслось:

«А-а-а-а-а-а?»

«Спи-и-ишь?»

«Нет, жарко — жуть», — отозвался Ландзарини.

«Пойдём чего-нибудь выпьем?»

«Я за!» — крикнул старичок с пятого этажа и стал спускаться вниз по простыням.

«И я, и я за!» — откликнулась сотня голосов, вспыхнули все светильники, захлопали щеколды, горожане в пижамах высыпали на улицу.

На рассвете, когда бармен подвёл итог, в кассе оказалось двенадцать миллионов наличными, не считая векселей и заложенных обручальных колец. Полуцци взял свою долю за арбузы и в тот же вечер скупил 40% акций IBM. Эльвира, вовремя почуявшая спрос и бросившаяся на матрас с криком «Групповые скидки!», открыла свой магазин косметики и салон красоты.

Мы вчетвером собрались в ванне Губбьоли, поиграть в кости. Рапещци выкрутил Нептуна из городского фонтана и отнёс его ко входу в дом Кокосекко, Грандини стал мочиться в вазочки из-под сиропа — набралось 4 штуки — а дедок из бара и его ровесник с пятого этажа рванули на спор до церкви Сан-Лука и обратно.

Возвратились они в первых числах сентября, когда жара уже пошла на спад, и кто-то из вернувшихся с отдыха, глядя, как финишируют бегуны в трусах, позволил себе осуждающе воскликнуть: «Во народ!» Наш старичок не удостоил его даже взглядом и, победно вскинув руки, пересёк финишную черту.

*(Юмористический рассказ «Летняя ночь»
из сборника "Bar Sport", опублик. в 1997 г.)*

Niccolò Ammaniti. Anna

Le prime volte che Anna aveva lasciato Astor da solo a casa non si era spinta oltre la fattoria dei Mannino. Le scorte della mamma sembravano infinite, ma dopo un anno non restava che qualche scatola di mais, che ad Astor faceva male.

La fattoria era ai margini del bosco. Una costruzione lunga e bassa, con il tetto di tegole rosse. Proprio di fronte c'erano le stalle con i recinti di metallo. A un lato il fienile con balle di fieno.

I coniugi Mannino se li era portati via la Rossa e i figli, troppo piccoli per sopravvivere da soli, erano spirati nel loro letto a castello. Erano contadini, gente previdente, e la grande dispensa dietro la cucina era piena di barattoli di melanzane e carciofini sott'olio, di conserve, marmellate e bottiglie di vino, di cosci di prosciutto. Anna ci andava a fare provviste, ma un giorno la trovò ripulita. Era passato qualcuno e si era preso quello che aveva potuto. Il resto era sparso in terra.

Fu costretta ad ampliare il raggio delle sue esplorazioni. Nel primo gruppo di casette che trovò, tra cadaveri, mosche e topi, razzìò i pensili delle cucine. All'inizio attraversava gli appartamenti con le mani sulla faccia, cantando e spiando i corpi attraverso le dita, ma le bastò poco per abituarsi e trattarli come presenze fisse e curiose. Erano tutti diversi, ognuno con una posizione e un'espressione propria, poi, a seconda del grado di umidità, dell'esposizione alla luce, della ventilazione, degli insetti e degli altri animali necrofagi si trasformavano in filetti di baccalà o in poltiglie rivoltanti.

Per impedire ad Astor di seguirla o di farsi male, prima di uscire lo chiudeva con i suoi peluche e una bottiglietta d'acqua nel ripostiglio sotto le scale. All'inizio il bambino piangeva e si disperava, battendo i pugni contro la porta, ma dopo un po', essendo sveglio, capì che quella prigionia aveva i suoi lati positivi. Ogni volta la sorella riapriva la porta con cibo e regali.

Astor raccontava che quando stava lì, al buio, dal pavimento spuntavano gli animaletti che vivevano sottoterra. – Sono come le lucertole, ma hanno i capelli biondi e parlano con me.

Anna era soddisfatta della sua trovata. Era libera di muoversi e suo fratello non vedeva la distruzione, i cadaveri, non sentiva quell'odore dolciastro da cui non ti liberavi nemmeno aspirando il profumo.

Con il passare del tempo, però, Astor ricominciò a fare i capricci. Prima voleva la luce, e Anna non poteva certo accendergli una candela nello sgabuzzino. Poi cominciò a sostenere che le lucertole capellone non lo volevano più e gli dicevano le cose brutte.

Infine arrivò il tempo delle domande. Cosa c'è dopo il bosco? Perché non posso venire con te nel Fuori? Che animali ci vivono?

Anna, per convincere il fratello a lasciarsi rinchiudere, ogni sera gli raccontava le storie del Fuori. Lui le ascoltava in silenzio fino a quando il suo respiro si faceva regolare e il pollice gli cadeva di bocca.

Il Fuori, oltre il bosco magico, era una tavola morta. Nessuno era scampato alla furia del dio Danone (Anna lo aveva chiamato così in onore dei budini al cioccolato che ricordava con nostalgia): uomini, bestie, bambini. Loro due avevano la fortuna di

vivere in quel bosco così nascosto e fitto che la divinità non riusciva a vederci dentro. Lì si erano rifugiati i pochi animali sopravvissuti. Oltre gli alberi c'erano solo buche e ruderi abitati dai fantasmi. In fondo ai fossi spuntavano il cibo e la roba. A volte germogliavano scatole di tonno, a volte barrette di cereali, a volte giocattoli e vestiti. In quel mondo si aggiravano i mostri di fumo servitori del dio Danone. Giganti fatti di gas nero che uccidevano chiunque li incrociasse. Certe sere, nei racconti di Anna, i mostri di fumo si trasformavano in animali preistorici, uguali a quelli sul Grande libro dei dinosauri. Attendevano solo che Astor facesse un passo oltre il podere per mangiarselo vivo.

– E non posso scappare? Io sono molto veloce.

Anna era categorica. – Impossibile. E poi anche se non ci sono i mostri di fumo l'aria è velenosa e ti ucciderebbe. Superi la rete e dopo pochi metri muori.

Astor si mordeva le labbra poco convinto.

– E perché tu no?

– Perché quando tu eri troppo piccolo mamma mi ha dato una medicina speciale e i mostri non possono farmi nulla –. Ma altre volte diceva: – Io sono magica. Sono nata così. Quando morirò la magia passerà a te e potrai uscire e andare a prenderti da mangiare da solo.

– Non vedo l'ora che muori. Voglio vedere i mostri di fumo.

Anna dovette spiegare al fratello cos'era la morte. Erano circondati da cadaveri, eppure non sapeva come fare. Così catturava topi e lucertole e glieli ammazzava davanti.

– Vedi, adesso è morto. È rimasto solo il corpo, dentro non c'è più la vita. Puoi fare quello che vuoi, ma non si muoverà più. Se n'è andato. Se ti do una martellata in testa succede anche a te, te ne vai dritto all'altro mondo.

– Dov'è l'altro mondo?

Anna si spazientiva. – Non lo so. Dopo il bosco. Ma è sempre buio e freddo anche se la terra è infuocata e ti bruciano i piedi. E sei solo. Non c'è nessuno.

– Nemmeno la mamma?

– No.

Astor però non mollava. – E quanto ci rimani nell'altro mondo?

– Per sempre.

Queste lunghe e tortuose discussioni ontologiche la sfiancavano. A volte Astor si lasciava convincere, altre, come se intuisse che la sorella non gli stava raccontando la verità, cercava le contraddizioni. – E gli uccelli che passano in alto, in cielo, come fanno? Io li vedo. Perché loro non muoiono? Mica hanno avuto la medicina.

Anna improvvisava. – Sopra l'aria velenosa gli uccelli ci possono volare, ma non possono fermarsi.

– Anche io ce la faccio. Non mi fermo mai. Salto da un albero all'altro.

– No, muori.

– Posso provare?

– No.

Ad Anna venne un'idea. Tra il bosco e i campi, a un centinaio di metri dai confini del Podere del gelso, c'erano le stalle dei Mannino. Le vacche erano morte di

sete e le carcasse erano piene di vermi, avvicinandosi l'odore di putrefazione toglieva il fiato.

Anna accompagnò il fratello alla recinzione. – Ascoltami bene. Visto che ci tieni tanto, ti porto fuori. Però ricorda, io sono magica e non lo sento l'odore della morte. Quindi devi stare attento tu. Appena ti arriva un puzzo schifoso, da vomitare, vuol dire che stai per morire. Corri indietro velocissimo, non ti fermare, supera la rete e sei salvo.

Il bambino non era più tanto convinto. – Preferisco di no.

Anna sorrise dentro di sé e lo afferrò per un polso. – Adesso ci vai, così la pianti con tutte queste domande.

Astor si mise a piangere, puntò i piedi e si attaccò a un ramo. Anna dovette trascinarlo.

– Forza!

– No, ti prego... Non voglio andare nella terra che brucia.

Lo sollevò di peso e lo gettò oltre la recinzione, poi scavalcò anche lei e lo spinse, tenendolo per il collo, tra i tronchi coperti di edera e i pungitopo. Astor, con gli occhi gonfi di lacrime, si tappava la bocca. Ma anche così l'odore di carogna gli penetrò nelle narici. La guardò disperato, facendole segno che sentiva.

– Vai! Corri a casa!

Il bambino con un salto da gatto rientrò nel podere.

Da quel giorno non fu più necessario chiudere Astor nello sgabuzzino.

Никколо Амманити. Анна
(отрывок из повести, опубликованной в 2015 г.)

Поначалу Анна не решалась надолго оставлять брата одного и забиралась не дальше фермы, принадлежавшей когда-то семье Маннино. Но неистощимые мамины припасы постепенно таяли, и уже спустя год дома осталось лишь несколько банок с консервированной кукурузой, от которой Астора мутило.

Ферма стояла у самой опушки леса. Невысокое длинное здание венчала крыша из красной черепицы. Рядом размещались загоны для скота, обнесённые металлической изгородью, и гумно со скирдами сена.

Чета Маннино пала жертвой Красной чумы, а дети их, слишком маленькие, чтобы выжить без родителей, умерли с голоду в своих кроватках. По-крестьянски запасливые хозяева оставили после себя множество заготовок, кладовка при кухне была битком набита консервированными баклажанами, маринованными артишоками, свиными окороками, всяческими вареньями, соленьями и наливками. Анна ходила туда пополнять запасы съестного, но однажды обнаружила лишь пустые полки — кто-то смёл подчистую всё, что смог унести, а остатки раскидал по полу.

С того дня пропитание приходилось искать всё дальше. Она обходила ближайшие посёлки и обшаривала кухонные ящики, стараясь не смотреть на облепленные мухами трупы и копошащихся под ногами мышей. Первое время, пересекая комнаты, Анна закрывала лицо руками, насвистывала под нос

песенку и лишь украдкой сквозь пальцы бросала взгляды на мертвецов, но вскоре она привыкла к их молчаливому присутствию и стала рассматривать тела с некоторым любопытством. Они не были похожи друг на друга, лежали в разных позах, а на их лицах застыли разные выражения, но все они, кто раньше, кто позже, под действием света, влаги, воздуха, насекомых и других мелких падальщиков разлагались, превращаясь в тошнотворный бульон из тухлого мяса и гноя.

Чтобы брат не увязался за ней, Анна перед уходом запирала его в каморке под лестницей, оставив ему игрушки и бутылочку воды. Поначалу мальчик ревел и отчаянно колотил в дверь, но быстро смекнул, что в этом заточении есть свои плюсы. После таких отлучек сестра каждый раз возникала на пороге с гостинцами и подарками.

Астор рассказывал, что пока сидел взаперти, из-под пола вылезали подземные зверьки.

— Как ящерицы, только с белыми волосами и говорящие.

Анна радовалась его выдумке. Она больше не боялась, что он побежит за ней, увидит последствия эпидемии, тела погибших, надышится этим сладковатым трупным запахом, который потом невозможно перебить даже духами.

Но вскоре Астор опять начал капризничать. То он не желал оставаться в темноте, а позволить ему жечь в каморке свечи Анна никак не могла. То утверждал, что волосатые ящерицы его разлюбили и теперь говорят ему гадости.

Наконец настала пора вопросов. Что там, за лесом? Почему мне нельзя с тобой за забор? А какие звери там живут?

Каждый вечер накануне своих вылазок Анна рассказывала брату сказки о Зазаборье, стараясь убедить его остаться дома. Он слушал, не перебивая, и постепенно засыпал, посапывая и выпуская изо рта палец.

Зазаборье по ту сторону заколдованного леса представляло в её рассказах мёртвой пустыней. Никто не спасся от гнева бога Данона (Анна прозвала его так в честь шоколадных йогуртов, о которых вспоминала с тоской): ни люди, ни звери, ни дети. Только они вдвоём, по счастью, жили в таком непроходимом и непроглядном лесу, что грозный бог их не заметил. Здесь же укрылись и немногие уцелевшие животные. А за лесом остались лишь ямы и руины, где прятались призраки. В этих-то ямах и росла еда и всякие полезные штуки. Иногда Анна находила там банки с рыбными консервами, иногда — овсяное печенье, а иногда — игрушки и одежду. В этом мире жили дымовые чудовища — служители бога Данона, гиганты из чёрного газа, убивающие всех на своём пути. Иногда в её рассказах дымовые чудовища уступали место доисторическим животным, точь-в-точь как в «Энциклопедии динозавров». И все они только и ждали, что Астор шагнёт за забор, чтобы слопать его живьём.

— А убежать я не смогу? Я же быстро бегаю!

Анна была неумолима:

— Не сможешь. И потом, даже если ты не встретишь дымовых чудовищ, там сам воздух убивает, он ядовитый. Выскочишь за забор, и через несколько шагов тебе конец!

Астор не спешил верить и задумчиво кусал губы:

— А ты почему не умираешь?

— Потому что, когда ты был совсем маленьким, мама дала мне специальную таблетку, теперь чудовища не могут мне ничего сделать.

А иногда она отвечала:

— Я заколдованная. С рождения. Когда я умру, колдовство перейдёт к тебе, и ты сможешь выходить и сам искать себе еду.

— Скорей бы ты умерла. Я хочу посмотреть на дымовых чудовищ.

Ей пришлось разъяснять брату, что такое смерть. Мертвецы были повсюду, но Анна всё равно не находила слов. Тогда она стала ловить мышей и ящериц и убивать их на глазах у Астора.

— Смотри, вот теперь она умерла. Осталось только тело, жизнь из него ушла. Что бы ты ни сделал, она уже не встанет, её больше нет. Если я дам тебе молотком по голове, ты тоже умрёшь, попадёшь на тот свет.

— А где тот свет?

Анна злилась:

— Не знаю. За лесом. Там всегда темно и холодно, хотя земля горит под ногами и жжёт пятки. И там никого нет. Один будешь.

— Даже мамы нет?

— Даже мамы.

Астор не унимался:

— А долго я там буду? На том свете?

— Вечно.

Она уставала от этих экзистенциальных бесед. Порой Астор соглашался с сестрой, но иной раз, словно чуя, что она что-то не договаривает, пытался поймать её на противоречиях:

— А птицы? Они же летают над этими местами, я видел! Почему они не умирают? Таблеток-то им не давали!

Анна выкручивалась, сочиняя на ходу:

— Птицы могут пролетать над отравленной землёй, они не могут на неё садиться.

— Я тоже могу не касаться земли! Я могу прыгать с дерева на дерево без остановки!

— Нет, ты умрёшь.

— А можно я попробую?

— Нет.

Потом Анна пошла на хитрость. На опушке леса в сотне метров от Шелковичного имения находились загоны, где Маннино держали коров. Бурёнки погибли от жажды, а их туши с кишачными в них червями источали такую вонь, что делалось дурно.

Туда-то Анна и повела брата.

— Слушай внимательно. Раз тебе так хочется, сейчас мы пойдём за забор. Но не забывай, что я заколдованная, я запаха смерти не чувствую. Так что сам будешь принюхиваться. Как почувешь вонь такую, что выворачивает, беги обратно со всех ног, не то смерть тебя настигнет. Помни, что безопасно только по эту сторону забора.

— А может не надо? — испуганно пролепетал мальчик.

Анна мысленно усмехнулась и схватила его за руку:

— Нет уж, идём! Узнаешь раз и навсегда, каково там.

Астор заревел, изо всех сил упёрся ногами в землю и схватился за ветку, но Анна потащила его вперёд:

— Ну же!

— Нет, пожалуйста!.. Я не хочу туда, где земля жжёт пятки!

Но она уже сгребла его в охапку и перекинула через изгородь, следом перелезла сама и, волоча брата за шиворот, двинулась вперёд, огибая поросшие плющом деревья и заросли иголки. Астор зажимал рот руками, но запах гниющего мяса бил в нос. Он в отчаянии поднял на сестру полные слёз глаза, всем своим видом показывая, что чувствует зловоние.

— Беги домой! Скорее!

Мальчик одним прыжком по-кошачьи перемахнул через изгородь.

С того дня закрывать Астора в камере больше не приходилось.

Из переводов Игоря Волокитина

И. С. Волокитин родился и живет в г. Барнауле, закончил химический факультет Алтайского государственного университета. Работает в Сибирском центре безопасности труда инженером. Пишет стихи, рассказы, сказки. Занимается переводами, в основном с польского языка (harry_cherap@mail.ru).

Agnieszka Osiecka. Chciałeś

Chciałeś zabrać mnie nad morze,
a zgubiłam się na lata,
teraz muszę, mój ty Boże,
wracać dookoła świata.

Dookoła świata płynę,
co za koszt i jaki kłopot,
zamiast wtedy kupić bilet,
prostą drogą pruć do Sopot...

Cierniem jesteś w mej koronie,
w mym uśmiechu – smugą smutku,
czy ja kiedy cię dogonię,
choć idziesz pomalutku?

Agnieszka Osiecka. Choroba czwartej rano

O czwartej rano,
jak pożar,
budzi mnie ból.
Wstaję.
Czepiając się ścian wchodzę do łazienki.
Watpię w istnienie Boga,
dobrych ludzi,
ciebie.
Dzwonię do zegarynki.
Jest.

Agnieszka Osiecka. Gwiazda siedmiu wieczorów

Zawsze pierwszy
na liście nieobecności,

Агнешка Осецка. Ты хотел

Ты хотел со мной на море,
Я исчезла в это лето.
И должна теперь, о Боже,
Возвращаться с края света.

Через целый мир вернуться,
Без учёта всяких хлопот.
А тогда могла проснуться
На прямой дороге в Сопот.

Колет тёрн в моей короне,
А в улыбке — тень печали.
Медлишь ты, а я в погоне.
Мы сравниваемся едва ли.

Агнешка Осецка. Болезнь четырёх утра

Четыре. Утро.
Как пожар,
Меня поднимет боль.
Встаю.
Цепляясь стен, иду до ванной.
Уже не верю я в существование Бога,
Добра,
Тебя.
Звоню узнать который час.
Сейчас.

Агнешка Осецка. Звезда семи ночей

Всегда первейший
В списке непришедших,

wyposażony w zwolnienie lekarskie i
boskie,
a także –
w głębszą rację,
nie chciałeś być gwiazdą siedmiu
wieczorów
ani jutrzeńką,
ani nawet
gniewnookim Marsem.
I ja tego słucham,
ja,
która szłam po niebo.

Освобожденье получивший от труда,
И всех грехов
А так же –
Бесконечные права
На всё.
И ты не хочешь быть звездой семи
ночей,
И ни Венерой утра,
И даже гневнookим Марсом.
Я это слушаю.
Я,
Что иду по небу.

ИЗ КАСТАЛЬСКОГО ИСТОЧНИКА



Евгения Савро. Басня

Все басни учат доброте,
Но рассказать хочу тебе
Историю иную, друг.
Не будет в ней любви и слуг,
В ней будет странная развязка.
На то она тебе и сказка,
Чтоб сказывать лишь то, что врут.
Недаром пряник есть и кнут.
Итак, в далеком Староземье
Из года в год царит безделье.
Поля не сеют и не жнут,
Не знают люди слова «труд».
Однажды, словно вихрь ревуций,
Явился Ждан из Райских Кущей.
Был он силен, красив и статен,
Шептали: был еще и знатен.
Он мимо проезжал и вдруг
Увидел солнца яркий круг.
Подумал он: «Вот это знак.
Не может это быть пустяк».
Решил остаться в Староземье
И разузнать всё о безделье.
Остался на день, два и три.
Потом воскликнул: «Черт дери!
Все эти люди — подлецы!
Но хитрецы и молодцы!
Пока работают другие,
Они живут в прекрасном мире,
Построенном для них самих».
На этом его голос стих.
Недолго думая, решился:
«А к черту то, что я женился.
А к черту, что детей кормить.
Хочу в безделье годы длить».
С тех пор остался Ждан в деревне
И стал прислуживать царевне.
Мораль сей басни такова:
Царица Ленъ всех забрала.

***Савро Евгения, студентка 1 курса факультета иностранных языков Донецкого
национального университета (savroevgeniia2000@mail.ru)***

Антон Бессонов. Хамелеон

Эта подборка стихотворных текстов — вольные авторские переводы украиноязычных популярных, и не очень, песен на русский язык. И русскоязычных на украинский.

По большому счёту, данные тексты — литературная основа для музыкального альбома с рабочим названием «Хамелеон». Исполнение песен, принадлежащих другим авторам, с текстами, перевод которых сделан исполнителем (т.е. мной), лежит в основе концепции этой, пока ещё только «созревающей», музыкальной программы (рассчитанной, в общем, на самую широкую аудиторию).

Переводы выполнены в очень свободной манере. Разумеется, поскольку они предназначены для вокального исполнения под аккомпанемент музыки оригинала, то неизбежно привязаны к структуре исходных текстов, их ритмике и т.п. Но, по большому счёту, я стремился не к формальной точности перевода, а к созданию некоего конгениального, по отношению к изначальной песне, материала.

Каким-то образом в этот русско-украинский «хоровод» затесались англоязычные *Little Wonder* и *Space Oddity* Дэвида Боуи. Тем интереснее, тем интереснее!..

Переводы привожу в паре с оригинальными текстами (взяты из интернета).

Перевод	Оригинал
Пташка (Океан Эльзы)	Пташка (Океан Ельзи)
Пой мне, птица соловей, О потерянной любви, Навсегда покидая Наш осенний сад!	Не співай для мене так Я не зможу відійти І не зможу приспати Всіх думок своїх.
Пой мне, птица соловей! За собою не зови. Я теперь не летаю — Тем и виноват.	Не співай для мене так, Як то можеш тільки ти. Твоя пісня безмежна, Але не для всіх.
Припев: Лети, моя пташка, в звёздное небо, Если вправду ты не можешь без него. Лети, моя пташка! Жизнь моя — небыль, Упорхнули чувства все до одного. Пой мне, птица соловей, Как умеешь только ты.	Приспів: Лети, моя пташко, у своє небо. Як не можеш ти без нього, то й лети. Лети, моя пташко, може й так треба. Та все далі, далі, далі я і ти. Заспівай для мене так Як то вмієш тільки ти
Отпевай мою душу Сладкой песней своей! Пой мне, птица соловей! Хорони мои мечты! Твой полёт не нарушу: Улетай поскорей!	І не бійся за мене Як не як, але свій. Тільки квіти на вікні Залишаються мені. Тихо сплять на світанні От лиш колір чужий.
Припев.	Приспів.

Африка (Океан Эльзы)

Не упрекай меня
За то, что мы живём
Во времена, когда
Всё вокруг — вода.
Не упрекай за то,
Что мир наш — водоём,
В котором мы с тобой
Тонем без следа.
И не кори за то,
Что в сердце боль и злость,
Что на душе лежит
Скользкий камень лжи.
А под гитару спой
Чужую молодость —
И может быть, тогда
Станет легче жить.

Вокруг тебя живут
Герои добрых книг,
Которым в детстве ты
Верил, как родным.
Которым ты писал
Наивный детский стих
Корявым почерком,
Сердцем золотым.
Им не рассказывай
О том, что не везло.
Не доводи до слёз
Добрые глаза.
Чужую молодость
Пропой тоске назло:
И может быть, с тобой
будут чудеса.

L'Amour Attack (Скрябін)

Я боялся сделать шаг.
Я на тебя смотрел — и не дышал.
Не чувствуя ни рук, ни ног,
Я под дождём упал на твой порог.

Припев:

Вот чудак!
Вот чудак! Чудак!

Африка (Океан Ельзи)

Ти не питай мене,
чому наш час такий,
Коли навколо нас
темна лиш вода.
І не питай мене,
чому цей світ такий,
Напевно відповідь
тобі на це не дам.
І не питай мене,
чому мої пісні
Тобі нагадують
те, чого нема.
Але ж візьми собі
з полиці молодість
Зітри пилюку там,
сядь і заспівай.

Навколо нас живуть
герої тих казок,
Які в дитинстві ти
усі перечитав.
У них і запитай,
чому наш час такий
І чи було усе
п'ять століть назад.
І скажуть нам вони,
що загубилася
У багатьох віках
відповідь проста.
І бути нам тоді
не судилося,
Бо у нас життя -
лиш одне життя.

L'Amour Attack (Скрябін)

Був то крок до тебе знов
Я чув як у висках пульсує кров
Дивитись більше я не міг
І під дощем рясним на сходах ліг.

Приспів:

Ну й дивак!
Ну й дивак! Дивак!

Порой настигает нас L'Amour Attack. Неведом даже докторам такой эффект. В окне застыл манящий тёплый нежный взгляд. А я боюсь тепла, я тороплюсь назад.	Часами маю сильну я l'amour attack. Не знають навіть лікарі про той ефект. В вікні залякли очі просять йди сюди. А кожен вечір бачу: знову я один.
---	--

Дрожали пальцы тёплых рук, И шёпотом «люблю» мелькнуло вдруг, Но я не верю чудесам, И шёпот этот я придумал сам.	Гарячі руки мліють знов, Язык не міг сказати ані слова. На двері, бачу, спала ніч. Я думав і не знав у чому річ.
---	---

День опять накрыла ночь, А губы словно склеил цепкий скотч. Я двери намертво закрыл, Чтоб не открыть, когда за ними ты. Припев.	За вікном сухий листок, Тремтять вже губи, ніби йде в них ток. Я двері намертво закрив, Щоб не відкрити, бо за ними ти. Приспів.
--	---

Птицы (Скрябин)

Как-то в синем небе встретил я заморских птиц.
Вдаль они летели. С ними было по пути.
Крыльями шумели, нагоняли жуткий страх.
После в воду сели прямо на моих глазах.

Припев:

Я хотел бы хоть раз
Покружиться над планетой.
Пару зорких глаз,
Пару крыльев, свежий ветер.

Я хотел бы хоть раз
Видеть мир глазами птицы.
Посмотреть на нас,
Наши мысли, наши лица.

В кронах над лесами птицы вьют большие гнёзда.
Это рядом с нами: в небе, где мерцают звёзды.
Птицы носят крылья, птицы носят людям счастье.
Снегом всё накрыло — им пришла пора прощаться.

Припев.

Птахи (Скрябін)

Раз високо в небі я зустрів чужих птахів.
Всі вони летіли звідтам, де і я хотів.
Крилами шуміли, наганяли дикий страх.

Потім в воду сіли просто в мене на очах.

Приспів:

Я собі захотів політати десь під небом.
Двоє гарних крил, і мені вже ніц
не треба.

Я собі захотів подивитися на люди.
З висоти птахів я побачив то, що буде.

На старих деревах вони мають свої хати.
То не є далеко, та не можна їх дістати.
Вони мають крила і не роблять зла нікому.
А як стане зимно то летять собі
додому.

Приспів.

**Більше ніщо не дивує нас
(David Bowie)**

Спецефекти, розкіш та лиск,
Голлівудський брудний екстаз
Не дивують: ми це вже пройшли.
Більше ніщо не дивує нас.

Хтиві дівчатка, шалена юрба,
Звуки, що рвуться крізь простір та час
Не дивують, хоч воля слабка.
Більше ніщо не дивує нас.

Чорні душі, чорні думки,
Чорні клавіші, чорний джаз
Не дивують нас анітрохи.
Більше ніщо не дивує нас,
Бо ми вже все бачили, ми вже все чули
Гасла спалахують, наче гас.
Не дивують майбутнє й минуле.
Більше ніщо не дивує нас.

Байдуже все, байдуже все —
Летимо собі, летимо собі.
Вітром несе, нас вітром несе —
Летимо собі, летимо собі.

Little Wonder (David Bowie)

Stinky weather, Fat shaky hands
Dopey morning Doc, Grumpy gnomes
Little wonder then, little wonder
You little wonder, little wonder you

Big screen dolls, tits and explosions
Sleepytime, Bashful but nude
Little wonder then, little wonder
You little wonder, little wonder you

Intergalactic, see me to be you
It's all in the tablets, Sneazy Bhutan
Little wonder then, little wonder
You little wonder, little wonder you
Mars happy nation, sit on my karma
Dame meditation, take me away
Little wonder then, little wonder
You little wonder, little wonder you

Sending me so far away, so far away
So far away, so far away
So far away, so so far away
So far away, so far away
So far away, so so far away

Космическая одиссея (David Bowie)

Что пошло не так, майор?
Что пошло не так, майор?
В мёртвом космосе Вы живы до сих пор!

Что пошло не так, майор?
Что пошло не так, майор?
В тесном космосе у Вас в душе простор!

В жуткой межпланетной суете
Вы сохранили дух.
Не бросая на родных и близких тень,
Бодрым шагом все круги прошли в аду.

Наш межгалактический кошмар
Вознёс Вас до небес.
Вы поёте под истошный рёв гитар
Всё, что было на душе, и всё, что есть.

Вы — словно чёрт из табакерки:
Здесь таких не ждут.
Улетайте прочь,
Вы — видение в бреду.

Ваш приём был выше всех похвал:
Я прилетал не зря.
Очень многое ясней понять мне дал
Вашей встречи электрический разряд.

Не пошли бы Вы, майор!
Ваша праведность — лукавый вздор!
Не пошли бы Вы, майор!
Не пошли бы Вы, майор!
Не пошли бы Вы, майор!
Не пошли бы...

Я — словно чёрт из табакерки:
Здесь таких не ждут.
Но привёл сюда
Мой запутанный маршрут.

Space Oddity (David Bowie)

Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on

Ground Control to Major Tom
Commencing countdown, engines on
Check ignition and may God's love be with you

This is Ground Control to Major Tom
You've really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule if you dare

This is Major Tom to Ground Control
I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today

Here Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do

Though I'm past one hundred thousand miles
I'm feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much she knows

Ground Control to Major Tom
Your circuit's dead, there's something wrong
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you....

Here am I floating round my tin can
Far above the Moon
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do.

Пам'ять (Flëur)

Непередбачено перетинаються
ламані лінії наших шляхів:
Доля зіштовхує нас на вокзалі,
щоб розлучити на декілька довгих життів.

Приспів:

Поміж світами блукаєш,
Риси знайомі шукаєш
У незнайомих обличчях...
Та коли час настане —
Попри всі коливання
Пам'ять до мене покличе.

Тільки заради миттєвого сполоху,
задля секунди, зігрітої зорями,
Будемо линути одне до одного
над віковичними ріками й горами.

Приспів:

Поміж світами блукаю,
Риси знайомі шукаю
У незнайомих обличчях...
Та коли час настане —
Попри всі коливання
Пам'ять до тебе покличе.

Де б ти не була...
Ким би не була...

Пізно чи рано, ми знову відкриємо
книгу життя на сторінці останній.
Розділ фінальний цієї історії
розділом першим для іншої стане.

Приспів:

Поміж смертей та народжень
Довго шукатиме кожен
Вічного щастя знайоме обличчя...
І коли час настане —
Попри всі коливання
Пам'ять назустріч покличе.

Вічного щастя знайоме обличчя,
Вічного щастя знайоме обличчя,
Вічного щастя знайоме обличчя,
Пам'ять назустріч покличе.

Память (Flëur)

Непредсказуемы пересечения
И разветвления наших дорог.
Мы расстаёмся на несколько жизней,
Чтобы однажды столкнуться в холодном метро.

Припев:

Странствуя между мирами,
Я храню в себе память
О каждом твоём воплощении.
И в назначенный час
Я узнаю тебя
По первому прикосновению.

Лишь для одной ослепительной вспышки,
Лишь ради нескольких звёздных мгновений
Мы будем плыть друг другу на встречу
Сквозь бесконечность и океаны забвения.

Припев:

Странствуя между мирами,
Ты хранишь в себе память
О каждом моём воплощении.
И в назначенный час
Мы узнаем друг друга
По первому прикосновению,

Где бы ты ни был,
Кем бы ты ни был.

Время придёт, и мы снова откроем
Книгу на самой последней странице.
И эпилог станет новым прологом,
И мы уйдём, чтобы вновь повториться.

Припев:

Только бы не разминуться,
не заблудиться
В круговороте смертей

и рождений.
И в назначенный час
вспомнить друг друга
По первому прикосновению.

В круговороте смертей и рождений...
В круговороте смертей и рождений...
В круговороте смертей и рождений...
По первому прикосновению...

М'якою ходою (Flëur)

Ти легка, наче пух,
Мов безтілесний дух.
Тихим подихом пестиш скло,
Лишаєш йому тепло.

Поруч сорочка зім'ята,
Чорний підбор,
Пляма твоєї помади,
Ніжних парфумів фльор.

Приспів:

Там-та-да-да-дам —
Я спокою тобі не дам.
Там-та-да-да-дам —
За твоєю спиною іду собі
сам.

Немов хижак,
Ступаю м'якою ходою.
Ти й не чуєш, як
Я всюди йду за тобою.

Не чекаєш ти,
Та я все одно прийду —
Через хиткі мости,
Через брúду завісу руду.

Приспів.

Щойно ти випадково
Озирнешся назад,
Ти побачиш, як загадкові

На мягких лапах (Flëur)

Ты нежна и легка,
Как облако выдоха,
Прижималась лицом к стеклу
Смотрела в ночную мглу.

Скомканная рубашка,
Стук каблуков,
След от помады на чашке,
Запах твоих духов.

Припев:

Там-та-да-да-дам —
Я иду по твоим следам.
У тебя за спиной.
За тобой по пятам.

Как хищный зверь,
Ступая на мягких лапах,
Я иду за тобой,
Я чувствую твой запах.

Ты меня не ждешь,
Но я всё равно иду
В заморозки и дождь
Осторожно по тонкому льду.

Припев.

Если ты случайно
Обернешься назад,
Ты узнаешь страшную тайну,

Очі у мене горять.

Встретив мой взгляд.

Не бійся шляхи забути,
Іди, куди ноги йдуть.
Нічого страшного не буде —
Я тут.

Не бойся с дороги сбиться,
Иди через темный лес.
С тобой ничего не случится,
Я здесь.

Вальс (ЛихоЛесьє)

Усі, хто хотіли піти, пішов,
Слідів не лишила вода, вода.
Скінчилося наше химерне шоу,
Побрали відпустки підробні таланти, та...

Вальс, вальс, вальс,
Навіщо робити задовгим цей вечір?
Вальс, вальс, вальс
Дозволить тебе обіймати за плечі.
Вальс, вальс, вальс
Наповнює келихи змістом та щастям.
Вальс, вальс, вальс,
Стискає нас міцно, неначе лещата.
Життя нам дарує жаданий солодкий полон.

Пливуть пароплави туди-сюди,
Злітають ракети уверх й униз...
Я знов щось шепочу про «вічно» и «завжди»,
Я знову з тобою лечу на край світу.
Чорніє земля там, де буду я.
Майоріють квіти — між ними ти.
Лишилася тільки моя сім'я,
Лишилися спогади, сонце та літо, та...

Вальс, вальс, вальс,
Не буде робити задовгим наш вечір.
Вальс, вальс, вальс
Дозволить тебе обіймати за плечі.
Вальс, вальс, вальс
Наповнює келихи змістом та щастям.
Вальс, вальс, вальс,
Стискає нас міцно, неначе ліщата.
Життя нам дарує жаданий солодкий полон.

Вальс (ЛихоЛесье)

Все, кто хотели уйти — ушли,
Следов не оставит вода, вода,
Пускай все спешат, но ты не спеши,
Пусть времени нету, но есть вдохновенье на...

Вальс, вальс, вальс,
Зачем делать вечер мучительно долгим,
Вальс, вальс, вальс
В середине зимы распахнул наши окна.
Вальс, вальс, вальс
Наполнил таинственным смыслом стаканы
Вальс, вальс, вальс,
Наверно, ты лучше не станешь, но может быть
Больше не будешь такой же упрямой, как я.

Плывут пароходы туда-сюда,
Летят самолеты и вверх, и вниз,
А я соглашаюсь на все города,
А я соглашаюсь на все направленья.
Останется только земля и я,
Останутся только цветы и ты,
Останутся только мои друзья,
Останется небо и благословенье на...

Вальс, вальс, вальс,
Зачем делать вечер мучительно долгим,
Вальс, вальс, вальс
В середине зимы распахнул наши окна.
Вальс, вальс, вальс
Наполнил таинственным смыслом стаканы
Вальс, вальс, вальс,
Наверно, ты лучше не станешь, но может быть
Больше не будешь такой же упрямой, как я.

Дарья Борозенец. Crown of Thorns

— У нас в Ирландии, — сказала Бранжъена, — это делают иначе.

Милая, милая Бранжъена, единственный близкий человек среди этих ужасных, далёких, непонятных мне, не понимающих меня людей, которые не принесут мне ни добра, ни счастья.

— Как же? — спросил кто-то.

И Бранжъена ответила. И щебетала она долго об ирландских обычаях, ирландских песнях, ирландских людях. И ни разу за весь брачный пир не пришлось мне сказать ни слова. И оставалось лишь думать, и думать, и думать.

Милая Бранжъена, берущая все неприятные заботы на себя.

О каком добре можно говорить, когда почти обманом привезли меня сюда, без разрешения моего, но только по уговору с отцом моим? Глуп и невозможно ужасен был уговор этот: Тристан убил змея, а в награду получил меня. О, лучше бы убила я его тогда его же мечом! Он зарубил родного дядю моего, меня же оскорбил. Но была я, увы, связана клятвой.

Но поздно плакать над пролитым молоком, и куда лучше всеми силами пытаться идти наперекор обстоятельствам, вместо того чтобы сразу уступить. Слишком много проблем может принести покорность и многим навредить.

На мужа, человека, с которым отныне и присно связана была я вопреки собственным желаниям, я взглянула лишь однажды. Он счастливо смотрел на меня, но не могла я ответить ему тем же.

На другом конце стола сидел племянник мужа моего, и на него бросала я взгляды куда чаще, и было это сильнее меня. Но каждый взгляд мой, каким бы нежным и тёплым ни казался он другому, наполнен был гневом и самой искренней ненавистью.

Руку мою крепко сжимал муж мой, но не браком нашим заняты были думы мои.

Мать моя, готовя зелье для меня и будущего мужа моего, не учла одного: разум мой, познавший авалонские плоды, не подвержен таким чарам, и вызванное зельем влечение не будет долгим. Но и этого хватило для безумства.

Не скажу, что горько сожалела я о в безрассудстве утраченной невинности, но мир наш устроен известным образом, а потому приходится озираться.

Нас обвенчали в храме на скале, и из него были видны чайки, прошивающие воздух. И я смотрела на них. И были видны тучи, застилающие небо над самым морем. И я смотрела на них. И смотрела я на гостей, но глаза мои в толпе невольно искали лишь Тристана, и снова было это сильнее меня.

Сложно найти в себе силы не зреть на того, кто занимает мысли твои всегда — и причиною тому ненависть.

Милая моя Бранжъена заняла место на брачном ложе. Я же, сокрытая, провела ночь в саду, чужом, непохожем на тот, что был у меня на родине, чужого замка, который — была я уверена в том — никогда не станет родным мне.

Так началась жизнь моя в Корнуэльсе.

Муж мой был мягок ко мне, и поняла я: и ему довелось отпить зелья. Милая, милая Бранжъена — куда больше думает она о доле моей, чем сама я — сколь чутка она, добра, осмотрительна... Чувства мужа станут залогом мне, не чувствующей к нему ничего.

Сколько сделала для меня любимая подруга моя, как мало смогла дать ей я.

Был муж мягок и к Тристану. Видела я, что любит он племянника своего больше прочих, и было ясно мне, что Тристан важнее ему, нежели жена.

Впрочем, все равно не любила я мужа — как можно любить столь слепого, столь бездумного человека, да и можно ли полюбить того, кого не видала ты прежде и кого совершенно не знаешь? Но отчего-то не задумывается никто над этим, и нас отдают замуж за незнакомцев.

Браки свершаются на небесах, и неважно, что не знаете вы друг друга в юдоли земной, коли на небе вы венчаны, говорили мне. Но не верую я в небеса, равно как не верую и в Бога, ибо сколько всего греховного свершается на земле каждое мгновение, но всё ещё живы мы, всё ещё не начался Страшный суд. И разве сама я не должна была уже пасть жертвой гнева Его, и разве Тристан не должен был? Но мы были живы, а значит, не было Бога.

Всякую ночь ложилась я спать, зная, что безрассудный Тристан придёт к ложу моему. И являлся. И говорила я, чтобы ушёл, и уходил, но снова возвращался.

Иногда же просил выйти в сад: бросал в воду сучья — чтобы только я заметила и спустилась. Его разум, омрачённый зельем, и не помышлял, что нужно скрываться. И я, не желая, чтобы его заметили, потому как хотела, чтобы был он в руках моих и мною судим, шла, минуя стражу, усыпленную моими зельями. Он пытался заключать меня в объятия, добиться ласковых слов — но не добивался. И всё равно никогда не замечал моего настоящего отношения. Он даже говорил, что любит меня. А я — в мыслях — отвечала, что любит он не меня, что это не любовь вовсе, а действие зелья, что он ничего не чувствует и не способен почувствовать. Но вслух молчала, ибо был он глух, как все мужчины.

Безрассудство сопровождало Тристана — и не заботился он, чтобы нас не заметили, а потому довольно скоро встречи наши, как ни пыталась скрыть я их, не были тайной.

Однажды упала ветка, раздался всплеск воды, и мы поглядели в пруд, но лишь во втором круге из тех, которые расходились по воде, увидали себя. И сразу же — мужа моего в кроне дерева прямо над нами.

Речь Тристана стала скупой, и вскоре мы разошлись. Но муж по лепету его мог заключить, что не виновны мы в том, в чём обвиняют нас, — и отступил. На время.

О досадной тайне моей знала лишь Бранжьена, но в ней могла я быть уверена, как в самой себе, и лишь Тристан, опрометчивый, безрассудный, находящийся в плену любовного зелья Тристан, оплошно вновь мог выдать себя. Выдать нас.

И выдал.

Андрета, Генедона, Гондоина и Деноалена, которых считали врагами нашими и предателями, судить я не смею. Они были истинными слугами мужа моего, истинными вассалами своего короля — единственными, кто ещё не ослеп в этом королевстве. И верно заботились они о чести его. Поэтому не

держу я зла на них — разве можно держать зло на овец, которые блеянием своим предупреждают пастуха о приближающемся волке?

Зло держу я лишь на Тристана, неосмотрительного, выдавшего себя, и мужа моего, который назначил казнь без суда, не дав мне даже доказать невиновность свою. Чувство ко мне, вызванное зельем, которое Бранжьена успела влить в его кубок на брачном пиру, видно, не затуманило разум его, если и было это возможно.

Но вот прошёл момент первого неприятия, и взглянула я на ситуацию иначе. Я избавлюсь от соучастника греха моего, от того, кого ненавижу пуще всех — и столь уж высока цена за это, даже если будет это смерть? Нет, цена эта мала. И повеселела я, и улыбнулась. И даже казнь, казнь без суда человеческого, ибо божественного попросту не существует, не омрачала меня.

О том, как бесславно сбежал Тристан, воспользовавшись церковью, той самой, где я обручилась с мужем моим, мне сказали сразу. И я, прикрыв глаза свои, усмехнулась: знала я, что не выдержит он казни, не утерпит, найдёт силы сбежать; знала я, что лишь в боях, где можно хитростью победить, отличаются они храбростью, перед лицом же смерти отступают страхась. И радовалась я тому, что не только посмертие, но и последние мгновения мои не будут омрачены и не увижу я его рядом.

Но как ошибалась я. Рок — или Бог, Которого все равно не существует, — несправедлив к женщинам.

Малого стоит правитель, который очертя голову бросается следовать советам своих подданных, которых в лучшие времена держат как можно дальше; но желание мести как можно более мучительной для меня настолько затуманило разум мужа моего, что он немедленно отдал меня просящим прокажёнными.

До чего мерзки были они: их разговоры, ухмылки и смешки, их взгляды. Это было куда гаже болезни их, и впервые я не подумала, как облегчить чужие страдания. Ведь и они не думали, как помочь мне.

Но не это было главной заботой моей.

Наверное, не так ужасна проказа, думалось мне, и коли войдет она в тело мое, то оно, покрывшись ранами, которые возьмутся струпьями, оттолкнёт Тристана — даже любовные чары будут бессильны здесь; а может, болезнь поразит и его — и наступит долгожданная свобода.

Но и этой мысли, как прежде мысли о казни, не суждено было сбыться.

Не успели войти мы в лес...

Горвенал, верный слуга Тристана — о доблесть мужчин! — убил безоружного предводителя прокаженных, и остальные, завидев это, разбежались кто куда.

А Тристан улыбался и думал, что спас меня.

— *О Господи Боже, Царь вселенной, помилуй меня и дай мне силы, чтобы я мог вернуть Изольду королю Марку!* — услышала я однажды.

— *Послушай, сеньор Огрин, помоги нам примириться с королем. Я отдам ему королеву,* — в другой раз говорил Тристан.

Я слышала это. И молчала.

Прежде говорил он, что не оставит меня, а до этого — что берёт меня для своего короля. И всякий раз обманывал. И ни разу не спросил, чего хочу. Я действительно желала покинуть его, но не к мужу вернуться хотелось мне, а просто уйти — туда, где живётся иначе.

У дальних русичей, говорят, правительница сама отомстила за убийство мужа. И сама правила страной после смерти его. И отклонила предложение взять её в жены снова — сама.

Мне было отказано и в этом.

В мире нашем правят отчего-то только мужчины, а потому и считают они себя важнее, лучше, значимее — нас же держат за вещи. Хотя мы вовсе не вещи.

Спасителями могу я назвать тех, кого все величают предателями. Андрет, Генедон, Гондоин и Деноален сказали мужу моему, чтобы отдал от меня на суд божественный. И он отдал.

Одна лишь проблема стала предо мной — как скрыть первое — злостное, но и единственное — деяние — не преступление, потому что не считаю я преступлением его. И я попросила отсрочку в десять дней. Десять дней — мал срок для человека, сказала я, для Бога же он и вовсе ничто. И нелепый муж мой согласился с этими словами.

Мать моя, добрая женщина, знала много снадобий и поведала мне секреты каждого. Были там те, что лечат раны, что приносят любовь (не было тех, что любовь губят!), были и те, кои препятствуют появлению ран.

Калёное железо, которое предстояло мне взять в руки, не причинит мне вреда, если смазать ладони таким зельем.

И Бранжъена, милая моя Бранжъена, приходящая на помощь всегда, взялась собрать травы, потому как нельзя было мне покидать замок до суда, и ночью приготовили мы нужный отвар.

Из замка мы выехали заутро. И уже вскоре после рассвета были у Белой Поляны.

Собралась я было спуститься с коня, но не дали мне сделать этого самой — подозвали стоящего невдалеке нищего паломника.

Как же слепы люди, если никто, кроме меня, не узнал в нем Тристана!

И он взял меня на руки, чтобы донести до шёлка. И сказала я ему: «Упади на песок», — ибо должен был показать он изнеможённым. И он, как и всегда, сделал то, о чём просила — что приказывала — я.

— *Оставьте его*, — сказала я, всё ещё желая самоличной мести, конюшим и морякам, которые, схватив весла, хотели накинуться на Тристана, — *он, видно, ослабел от долгого паломничества.*

И, сказав так, зашагала к святым мощам.

Раздала я кольца и браслеты с рук бедным, им отдала также накидку свою — и предстала перед наместниками Бога на земле лишь в прозрачной белой рубахе, держа в руках розмарин. Уже одно только это укрепило

нерассудливого мужа моего в мысли о невинности моей, но не для него было всё это.

Давно эту рубаху, без надрезов и швов, сшили мне тонкие белые женщины острова Авалона. И должна была стать она одеянием мне на брачном ложе, но отчего бы не послужить для иных целей, коль не пригодилась она там?

Протянув руку к святым мощам, я произнесла:

— *Короли Логрии и Корнуэльса, сеньоры Говен, Кей, Жирфлет и вы все, будьте моими поручителями: я клянусь этими святыми мощами и всеми святыми мощами на свете, что ни один человек, рождённый от женщины, не держал меня в своих объятиях, кроме Марка, моего повелителя, да ещё этого бедного паломника, который только что упал на ваших глазах. Годится ли такая клятва, король Марк?* — обернулась я к мужу моему.

И он кивнул.

До чего же неумны, до чего же слепы, до чего же глухи бывают люди!

Но это вина их, а не моя.

И от мощей я отошла к костру, в котором уже грелось железо для меня. Не знаю, кто и как выбирал, но только и его узнала я. То был меч Тристана — тот самый, которым убил он дядю моего, которым убил чудовище, заполучив тем самым меня; которым сама я могла убить — но не убила — его. И меч этот ещё больше всколыхнул гнев мой и ненависть.

Крепче сжав в руках розмарин (стебли его были в зелье) в последний раз, я откинула цветы и взялась за раскалённое лезвие. Жар, от него исходящий, ощущался, но был он в разы слабее, чем мог бы. И когда спустя положенное время отложила я железо, все увидели, что ладони мои чисты.

Значит, и сама я чиста и нет никакого греха на мне.

И вновь убедилась я, что не существует Бога или же Он слеп.

С тех пор я не видала Тристана. И жизнь моя была спокойной, ибо не досаждал мне муж мой подозрениями.

Испытала я радость, узнав, что Тристан женился. Значит, думалось мне, он забыл, значит, наконец-то оставит в покое меня и королевство наше!

Но не сбыться мольбам женщины, если идут они не в угоду мужчине...

Два безмятежных года была я верной женой и не посрамила мужа своего. Глупостью своей заслужил он всего, но я была выше этой глупой вещи — мести.

Была выше и многого другого, а потому не оскорблялась, когда начинали при мне обсуждать государственные дела, считая меня всего-навсего женщиной — красивым украшением для опочивальни, какой страх в обсуждении государственных дел при вещи? Но и у стен есть уши.

И я слушала и делала выводы.

И недалекий муж мой всегда считал, что все полезные для страны решения приняты им, не зная, что навеяны они мною.

Спокойная жизнь моя, как уже сказано, длилась лишь два года, по истечении которых всё вновь всколыхнулось. Раненный, вместо себя прислал Тристан своего друга, брата жены своей.

«Поезжай, — сказал муж мой, когда явилась я пред очи его. — Узнай и помоги, ведь уже дважды спасала ты племянника моего от смерти».

Хотела сказать я, что помогала невинному, ни в чём ещё не согрешившему предо мною безмянному юноше, не зная, что он — убийца возлюбленного дяди моего, что он тот, кто неприятно омрачит будущность мою. Не знала я, помогая ему тогда, что собственными руками готовлю беды себе.

Но промолчала.

Жестокая, недобрая мысль родилась в голове моей, и намерилась воплотить я её во что бы то ни стало, дабы мятущаяся душа моя снискала наконец покой на земле — лишь его хотела добиться я, зная, что нет Бога и не существует райского сада, где в безмятежности существуют души безгрешных после смерти.

Да и есть ли грешные? Ибо что есть грех? Отсутствие смирения? Тогда все мы грешны, бессмыслен рай и придумали его лишь для утрашения.

Чары, связавшие меня некогда, могли спасти меня. И под видом лекарственного снадобья взяла я в дорогу сильный яд.

Но не довелось мне испытать его.

Когда я, пришедшая под белым парусом, сошла на берег, нарушитель спокойствия моего был мертв.

Его собственная жена — Изольда — и было видно это по безумным стенаниям её, заломленными руками, дикому взгляду — убила его.

Любовь её была сильнее моей ненависти.

И я пала наземь и почувствовала, как слёзы наполняют глаза мои.

Не любовью, а лишь жгучей ненавистью были они вызваны. Не по любовнику, но по смертельному врагу, не мною убитому, лила я слёзы.

И умерла я не от любви, а лишь от чёрной смерти, которою наградили меня корабельные крысы, о чём узнала я слишком поздно, чтобы излечиться.

Люди меняют истории.

Они любят рассказывать всё не так, а судьбу Тристана знали вернее моей: Каэрдин, как и все мужчины, хранил тайны куда хуже, чем Бранжьена, милая моя Бранжьена...

Муж мой снова, на сей раз окончательно поверивший во все вымыслы, похоронил нас рядом — и после смерти не обретшая покоя на земле душа моя не нашла его.

Лишь в посмертии уверовала я. Уверовала, признав Бога жесточайшим и несправедливейшим. За что должна и после смерти я терпеть рядом с собою Тристана? За то, по-видимому, что я женщина. Он же блаженствует, добившись наконец того, к чему стремился всегда. И после смерти преследователь мой, невольный пособник ошибки моей терновником тянется ко мне, дабы колоть и терзать, пряча эти истязания за цветами.

Как благодарна я ломающим тёрн.

Как зла на мужа своего, что запретил он это.

Проходили годы и века, и люди забыли — многое забыли, и меня помнят лишь как возлюбленную — как любовницу — Тристана.

Лишь немногим рассказываю я правду, и не все запоминают её.

Не думай, впрочем, путник, что это мое назидание тебе или укор, или что грожусь я. Не думай так — лучше сорви цветов терновника да обломи венец, который украшает мое надгробие.

Фанфик Дарьи Борозенец, студентки 3 курса специальности «Русский язык и литература» филологического факультета Донецкого национального университета (borozenets.dasha@mail.ru)

Содержание

От составителя (О.В. Матвиенко)	3
Слово о конкурсе (К.С. Корконосенко)	4
МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА НАЧИНАЮЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ	5
ИМ. Э.Л. ЛИНЕЦКОЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2017)	
АНГЛИЙСКАЯ ПРОЗА.	6
Nathaniel Hawthorne. Twenty days with Julian and Bunny, By Papa. July 31st. Thursday. – Натаниэль Готорн. Двадцать дней с Джулианом и Зайкой. Из жизни Папы. 31 июля, четверг. Перевод А. Субботиной. Натаниэль Готорн. Двадцать дней с Джулианом и Кролей. От Папы. Вторник, 31 июля. Перевод М. Терещенко	
АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ.	11
Mervin Peak. To Maeve. – Мервин Пик. Посвящение Мэйв. Перевод Ю. Иващенко. Мервин Пик. К Мэйв. Перевод М. Медведевой. Мервин Пик. Мейв*. Перевод А. Гетманова	
НЕМЕЦКАЯ ПРОЗА.	12
Karl Valentin. Im Hutladen. – Карл Валентин. В шляпной лавке. Перевод А. Майлычко. Карл Валентин. В шляпном магазине. Перевод М. Богданович	
НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ.	18
Ilma Rakusa. [für Joseph Brodsky] – Ильма Ракуза. Иосифу Бродскому. Переводы Ю. Ромашкиной, Е. Вишняковой, О. Сафоновой, В. Хайтул	
ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОЗА.	21
Gaëlle Obiégly. Membres inférieurs. – Гаэль Обиэгли. Нижние конечности. Перевод А. Колгановой, Т. Богоудинова	
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ. Guillaume Apollinaire. *** – Гийом Аполлинер. (Сонет)***. Переводы О. Матвиенко, А. Пешехонова	24
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОЗА.	26
Jacopo Sannazaro (1458-1530). A la Sannazaro (1480-1504). – Якопо Саннадзаро. Аркадия. К свирели. Перевод П. Дроздовой	
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.	31
Giosuè Carducci. San Martino. – Джозуэ Кардуччи. День св. Мартина. Перевод А. Губайдуллиной и Р. Компарелли	
ИСПАНСКАЯ ПРОЗА.	32
Pío Baroja. El mundo es así (1912) – Пио Бароха. Таков мир (фрагмент, 1912). Перевод Д. Снытниковой, Т. Бусловой. Пио Бароха. Таков уж мир (1912). Фрагмент. Перевод М. Лабай. Пио Барроха. Мир таков. Перевод Г. Килгановой	
ЧЕШСКАЯ ПРОЗА.	35
Karel Čapek. Anglické Listy. Anglický Park. – Карел Чапек. Английские письма. Английский парк. Переводы А. Дудкиной, Р. Ивановой, Е. Бердышевой, А. Резвухиной. Карел Чапек. Письма из Англии. Английский парк. Перевод А. Гумеровой	
ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ.	42
Jiří Wolker. Poštovní Schránka. – Иржи Волькер. Почтовый ящик. Переводы В. Соломахиной, А. Колянова, А. Дудкиной, К. Горячек, С. Овчинниковой	
КИТАЙСКАЯ ПРОЗА.	44
冯骥才. 陈四送礼. – Фэн Цзицай. Чэнь Сы преподносит подарки. Перевод Е. Якуб. Фэн Цзицай. Как Чэнь Сы дарит подарки, Перевод И. Зоновой. Фэн Цзицай. Чэнь Сы дарит подарок. Перевод Д. Доржиевой	
КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ.	53
穆旦诗八首 (节选). – Ду Му. Прогулка в горах. Перевод Д. Комиссаровой. Му Дан. Восьмистишие (отрывки). Перевод Д. Комиссаровой. Му Дань. 8	

стихотворений (выдержки). Перевод О. Садовниковой. **Му Дань. Поэтический цикл Ши ба Шоу.** Перевод Е. Панченко

Переводы с английского 61

William Shakespeare. Sonnet 130 (My mistress' eyes are nothing like the sun) – 62

У. Шекспир. Сонет 130. Перевод Анастасии Бляшкиной

George Gordon Byron. I Saw Thee Weep – Джордж Гордон Байрон. Ты 63
плачешь... Перевод Натальи Черноволовой

Mervyn Peake. The King of Ranga-Tanga-Roon – Мервин Пик. Король Ранга- 64

Танга-Па. Mervyn Peake. O Love, O Death, O Ecstasy – Мервин Пик. О Любовь,

О Смерть, О Экстаз... Mervyn Peake. Again! Again! and Yet Again – Мервин

Пик. Опять! Опять! И вот опять. Переводы А. Мусиной
Поэтический турнир. Из материалов школьного конкурса 65
художественного перевода «Мои первые переводы» (2017, 2018).

William Henry Davies. A Plain Life – Уильям Генри Дейвис *** 65

Переводы Р. Коротича, К. Кекштас, Е. Травкиной. **У.Г. Дейвис. Обычная жизнь.**
Перевод А. Коренева. **У.Г. Дэвис. Простая жизнь.** Переводы А. Цибули,
Ю. Абдурашидовой

William Carlos Williams. Hunters In The Snow – Уильям Карлос Уильямс. 68

Охотники на снегу. Переводы Е. Биличенко, О. Бедило, И. Ларюхина,
К. Посредникова, М. Паллон, Д. Хлюбко, К. Федюшиной, А. Паниной,
Ю. Чеботаревой, М. Болотовой, А. Зубовой, М. Федорова, Д. Панченко,
Е. Дорошко, А. Мельничука, И. Гнилищкой, Н. Михалевой, вольный перевод
А. Ладной, ироническое переложение Ю. Сороколиты

Из материалов конкурса художественного перевода «Отражения» (2017). 79

Sylvia Plath. Black Pine Tree In An Orange Light – Сильвия Плат. Сосна на
оранжевом свете. Перевод В. Тимошенко. **Сильвия Плат. Сосна, чернеющая в**
оранжевом свете. Перевод А. Кириченко. **Сильвия Плат. Чёрная сосна в**
оранжевом свете. Переводы А. Овчаренко, А. Ивановой

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОНКУРСА «ЧИТАЮЩИЙ 82

ПЕТЕРБУРГ-2018». Jesmyn Ward. Sing, Unburied, Sing – Джесмин Уорд. Пой,
непогребенный, пой. Перевод Е. Вишневецкой. **Джесмин Уорд. Песня,**
неубиваемая песня. Перевод Е. Коваленко. **Джесмин Ворд. Пойте,**
непогребённые, пойте. Переводы А. Абрамянц, Я. Смирнова, С. Вожовой,
Д. Ершова

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОНКУРСА «ОТРАЖЕНИЯ» (2016, 94

2017). Hugh Walpole. The Dark Forest. Chapter III. The Forest. – Хью Уолпол.
Тёмный лес. Перевод А. Абрамянц. **Хью Уолпол. Лес.** Перевод М. Гуриенко. **Хью**
Волпоул. Тёмный лес (Глава III) Лес. Перевод В. Тимошенко. **Хью Уолпол.**
Темный лес. ГЛАВА III. Лес. Перевод Е. Тюриной

Переводы с немецкого 99

Heinrich Heine. Lorelei – Генрих Гейне. Лорелей. Перевод Я. Севериной 100

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР. Из материалов школьного конкурса 101

художественного перевода «Мои первые переводы» (2017, 2018). Из
материалов конкурса художественного перевода «Отражения» (2017).

Rudi Strahl. Ich male – Руди Штраль. Я рисую. Переводы С. Твердоступ, 101

А. Коренева, П. Трюхан

Hans Magnus Enzenberger. Ins Lesebuch für die Oberschule... – Ханс Магнус 103

Энценсбергер. По книге для чтения для высшей ступени... Перевод П. Трюхан.

Marie von Ebner-Eschenbach. Die Spitzin. Erzählung – Мария фон Эбнер- 104

Эшенбах. Шпиц. Рассказ. Переводы М. Беляковой, А. Грошевой. **Мария фон**
Эбнер-Эшенбах. Старая собака. Перевод Е. Дорош

Olga Grjasnowa. Gott ist nicht schüchtern – Ольга Грязнова. Бог не особенно 106

скромен (фрагмент). Перевод И. Лукашовой	
Переводы с французского, итальянского	110
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР. Из материалов школьного конкурса	111
художественного перевода «Мои первые переводы» (2017, 2018). Из	
материалов конкурса художественного перевода «Отражения» (2017). Paul	
Géraldy. Bonjour! – Поль Жеральди. Здравствуй! Перевод Ж. Кожомы.	
П. Жеральди. Привет! Переводы М. Болотовой, Е. Слепцовой	
Morgan Riet. Inutile – Морган Риэ. Напрасно. Вольный перевод Н. Гладких.	112
Морган Риэ. Бесполезно. Перевод М. Вафиной.	
Jacques Prevert. Pour Faire Le Portrait D'Un Oiseau – Жак Превьер. Как	114
нарисовать портрет птицы. Перевод Е. Хайтул. Жак Превьер. Чтобы нарисовать	
портрет птицы. Перевод А. Левищевой	
Джованнини Гуарески. Письмо. Перевод Д. Войницкого	117
В переводческой мастерской	121
<i>Из переводов Ольги Комаровой.</i> Garcilaso de la Vega. Soneto XXIII – Гарсиласо	122
де ла Вега. Сонет XXIII. Giosuè Carducci. San Martino – Джозуэ Кардуччи. День	
святого Мартина. Eugenio Montale. Il XII mottetto – Эудженио Монтале.	
Двенадцатый мотет. Eugenio Montale. Maestrato – Эудженио Монтале.	
Мистраль. Rafael Alberti. A la Gracia – Рафаэль Альберти. Грации. Stefano	
Benni. Le macchine e i gatti – Стефано Бенни. О машинах и котах. John	
Masefield. Sea fever – Джон Мейсфилд. Морская лихорадка. Mervyn Peake. To	
Maevе – Мервин Пик. К Мейв. Tracey Herd. Breakfast at Tiffany's – Трейси	
Херд. Завтрак у Тиффани. Giovannino Guareschi. La Lettera – Джованнини	
Гуарески. Письмо. Massimo Bontempelli. La Violetta – Массимо Бонтемпелли.	
Фиалка. Primo Levi. Angelica farfalla – Примо Леви. Нетленный мотыльк.	
Stefano Benni. Notte d'estate – Стефано Бенни. Летняя ночь. Niccolò Ammaniti.	
Анна – Никколо Амманити. Анна (отрывок из повести)	
<i>Из переводов Игоря Волокитина.</i> Agnieszka Osiecka. Chciałеś – Агнешка	167
Осецка. Ты хотел... Agnieszka Osiecka. Choroba czwartej rano. – Агнешка	
Осецка. Болезнь четырёх утра. Agnieszka Osiecka. Gwiazda siedmiu wieczorów –	
Агнешка Осецка. Звезда семи ночей	
Из Кастальского источника	169
Евгения Савро. Басня	170
Антон Бессонов. Хамелеон:	171
Пташка (Океан Эльзы) – Пташка (Океан Эльзы). Африка (Океан Эльзы) –	
Африка (Океан Эльзы). L'Amour Attack (Скрябін) – L'Amour Attack (Скрябін).	
Птицы (Скрябін) – Птахи (Скрябін). Більше ніщо не дивує нас (David Bowie) –	
Little Wonder (David Bowie). Космическая одиссея (David Bowie) – Space Oddity	
(David Bowie). Пам'ять (Flëur) – Память (Flëur). М'якою ходою (Flëur) – На	
мягких лапах (Flëur). Вальс (ЛихоЛесье) – Вальс (ЛихоЛесье).	
Дарья Борозенец. Crown of Thorns	181
Содержание	189

Литературно-художественное издание
Отражения. Выпуск 8/9.
Первые опыты художественного перевода

Редакторы и составители: К. С. Корконосенко, О. В. Матвиенко
Иллюстрации: В. В. Бондаренко